

ДАНА
АРНАУТОВА

18+

Год
НЕКРОМАНТА

Ворон
и ВЕТЬВЬ



Дана Арнаутова
Год некроманта.
Книга 1. Ворон и ветвь
Серия «New adult. Магические миры»
Серия «Год некроманта», книга 1

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18913859

Дана Арнаутова. Год некроманта. Ворон и ветвь: Эксмо; Москва; 2023

ISBN 978-5-04-192045-6

Аннотация

Королевство Арморика, после Войны Сумерек принадлежащее людям, на грани новой войны с фейри. Но враги станут союзниками перед лицом опасности, потому что древние боги ушли, а новый бог хочет разрушить мир.

Грель Ворон – последний из привратников мира мёртвых, ученик безумного принца-фейри и кошмар инквизиторов. Его род погиб, его душа проклята, а единственный друг убит. Ему нет дела до чумы, войны и конца света, но лишь Грель может спасти мир, готовый рухнуть в бездну Окончательной Благодати. Теперь он – последняя надежда людей, фейри и даже богов...

Содержание

Пролог	6
Глава 1	21
Глава 2	45
Глава 3	59
Глава 4	84
Глава 5	98
Глава 6	117
Интерлюдия 1	135
Глава 7	152
Глава 8	171
Конец ознакомительного фрагмента.	180

Дана Арнаутова

Год некроманта.

Ворон и ветвь

Иллюстрации *Юлии Тар*

© Д. Арнаутова, текст, 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *

«Прекрасное и бесчеловечное» – это про «Год некроманта». Формула темного фэнтези – Средневековье, серая мораль, чудовища и интриги – дополняется здесь блестящим стилем и тонким психологизмом, с которым Арнаутова выписывает

персонажей.

Мария Покусаева, блог BadLibrarian

Пролог Колыбель Чумы



Королевство Арморика, город Кё

*14-й день децимуса, год 1218-й
от Пришествия Света Истинного*

Нас ждали. Не зря мне с самого начала не нравилась эта затея. И, конечно, я опоздал. Золотое сияние портала тугой спиралью развернулось на площади, среди полусгнивших трупов и костей. Ничего неожиданного, ничего странного, ничего опасного... И Ури рванулся из портала первым, торопясь к долгожданной цели. Выскочил на мощенную каменными плитами площадь, едва не поскользнувшись второпях, обернулся, сверкая белозубой восторженной улыбкой, сделал шаг вперед, позволяя выйти мне...

Арбалетный болт с влажным хрустом входит ему в грудь. Второй пробивает висок. Непоправимость происходящего переживает горло. И все, что я успеваю, – подхватить хрупкое тело, что медленно падает вниз, прямо мне под ноги. Прижимаю к груди, прикрываясь от возможного выстрела. Прости, мальчик! Тебе уже все равно. А мертвый, я ничего не сделаю.

– Один готов! – пронзает тишину ликующий женский вопль.

Голос срывается от щенячьего восторга. Сучка...

– Нита, молчать! Ставь защиту!

Я трачу драгоценные мгновения, чтобы бережно опустить тело на мостовую. Падаю следом. Перекатываюсь, уходя в тень стены. Они хороши... Болт свистит у виска. Освященное серебро обдает жаром. Второй – тоже мимо. Следом при-

ходит волна чужой магии, что Они почему-то зовут верой. Но расстояние немалое, а город так пропитан смертью, что Их сила вязнет и рассеивается впустую.

Теперь моя очередь! Плохая была мысль: играть с некромантом на площади, полной трупов. Нюхаю воздух, пробуя на вкус. Ужас, безумие, боль... Эманации смерти так густы, что у меня зубы ломит. Закрываю глаза и почти сразу открываю их снова, по ту сторону Врат, где нет ни ночи, ни дня. Вся площадь во тьме, но три серебряных пятна я различу, даже если глаза мне выжгут. Кожей почую, костями... Два послабее: заемная сила, готовые амулеты. Зато третье – яркое, силуэт умудряется рассеять мрак далеко вокруг себя. Это здесь-то! В Колыбели Чумы! Никак паладин пожаловал? Когда-то я был бы польщен. И даже сейчас бы с радостью позабавился поединком. Если бы не Ури.

Пальцы четко и быстро делают свою работу, чем бы ни была занята голова. Сначала щит. Самый прочный – я знаю мощь паладина. Сеть на всю площадь! Виски сначала ломит от напряжения, потом пронзает раскаленной иглой. Пусть! Бредень быстро приносит улов: дюжины две серых огоньков. Эти при жизни были посильнее, потому и не успели рассеяться до конца. Тугие потоки силы черными змеями струятся с пальцев, ползут по площади, находя цели. Две дюжины целей...

Я старательно обхожу тусклое сияние над телом Ури. Торопливо полосую запястье, чтобы начертить знаки власти

прямо на камнях. Отползаю от рисунка. А потом шепчу заклинание, прижимаясь к стене, пока жгучий поток света рвется в мою сторону. Низкий голос гремит над площадью, выпевая слова молитвы. Где-то наверху ему тревожно отзываются колокола собора. Кожа горит, волосы встают дыбом и трещат, но щит пока держится. Хорошо, что сижу, – ни за что не удержался бы на ногах. И хорошо, что, пока паладин поливает меня магией, остальные не рискнут приблизиться. А ну как эманации святоши обнаружат в душах соратничков грех? Свет такого накала жжет не хуже кислоты. Или очистительных костров Инквизиториума...

Да когда же ты иссякнешь, сволочь? Из ноздрей теплыми противными струйками течет кровь. Когда-то у меня была привычка от боли закусывать нижнюю губу. Но обучение некроманта – такая вещь, что никаких губ не напасешься... Я терплю, терплю, терплю... Терплю до тех пор, пока смертельное сияние не тускнеет – даже паладину надо перевести дух. И, поймав мгновение, отпускаю две дюжины тугο натянутых нитей, что держал все это время!

– Тварь! Мразь нечистая!

Ну, просто музыка для слуха... Усмехаюсь окровавленными губами, наблюдая, как поднимаются – чуть неуклюже, но с каждым мгновением все увереннее – мои орудия. Ковыляют, протягивая оголившиеся кости рук, оставляя ошметки слизи и гнилого мяса. Настойчивые, неотвратимые, как сама смерть...

И, разумеется, у арбалетчицы не выдерживают нервы. Вряд ли церковные псы показывали своей сучке, натаскивая на охоту, как выглядит атака толпы умертвий. Может, одного-двух... Истошно визжа, она срывается с места. Второй – теперь я их вижу обычным зрением – догоняет, схватив, прижимает к стене...

– Нита, стой! Стой, тебе говорят! Они тебя не тронут!

Тут он прав, как ни жаль. Амулеты защитят от прямого прикосновения тлеющей плоти. Но на площади достаточно палок... И камней... Да и оружие у некоторых мертвецов имеется. Рыдающая девка вжимается в стену за спиной крепкого мужика, тот умело отбивается глефой. Умертвия кружат вокруг, падают, когда удачный замах отрубает голову, но их слишком много. Вот и славно! Хорошо, когда все при деле...

Наверное, паладин со мной согласен. Не пытаюсь помочь соратникам, он выпрямляется и идет ко мне, широкими тяжелыми шагами пересекая площадь. Легкие латы, белый плащ с алой стрелой в круге, горящий верой и ненавистью взгляд. Сияние от него такое, что глазам больно, голос громыкает, и его молитва рвет попавшегося на пути мертвяка в клочья. Криво улыбаясь, я встаю на ноги, глядя, как он приближается. Много чести – шагать навстречу.

– Изыди, исчадие!

– Проклятого, – любезно подсказываю я. – Ты забыл добавить.

Больше не успеваю сказать ничего. Пробужденный амулет вспыхивает маленьким солнышком. Щит выдерживает, но меня сбивает с ног и впечатывает спиной в стену. А стоял бы от нее дальше – и летел бы дальше. Бесполезный амулет падает в сторону, церковник выхватывает еще один.

– Некромант Грель Ворон! Благодартью...

Договорить он не успевает. Я поднимаю левую руку, плотно прижимаясь к стене, влипая в нее всем телом. Небеса небесами, но надо же и под ноги смотреть. Он ступает на капли уже подсохшей крови, прямо посреди знаков, держа в латной перчатке разгорающийся амулет. Лучше просто не придумать! Между нами шагов пять, не больше. Я выплевываю слово и прикрываю лицо правой рукой. Полыхает так, что даже это не спасает, – белая вспышка просачивается сквозь пальцы и веки, обжигает лицо. Медленно отвожу руку. На противоположной стороне площади остаток умертвий вяло атакует девчонку, изо всех сил машущую тяжелой для нее глефой. Вояка, скорчившись, лежит позади нее. Надо же, не сбежала... Вот теперь можно и прогуляться.

Под ногами скрипит пепел. Поворошив его носком сапога, с наслаждением пинаю бесполезный кусочек серебра – единственное, что осталось от паладина в столкновении стихий.

Дальше все просто. Так просто, что даже противно. Через пару минут арбалетчица, надежно обездвиженная, сидит у стены, полосуюя меня ненавидящим взглядом. Соплячка, не старше Ури. И волосы такие же светлые, будто в одной де-

ревне родились. Сердце давит тупая боль...

– Говорить будете сразу или потом? – интересуюсь у обоих.

Упрямо поджатые губешки, вытаращенные голубые глаза наливаются прозрачным...

– У вас что, мужики закончились? – поворачиваюсь к церковнику.

Не так уж ему и плохо. Несколько неглубоких ран, укусы. Если сейчас полечить – жить будет. По крайней мере, пока свое слово не скажет госпожа Чума. Или у них и от нее защита есть? Точно, вот... Деревянные стрелки так и лучатся знакомым спектром. Нагляделся, пока Ури работал. Аккуратно режу кожаные тесемки, сжимаю их в ладони, позволяя деревяшкам покачаться в воздухе перед глазами парочки.

– Ну так что?

– Да плевать, – отзывается вояка. – Пока заболеем, ты нас сотню раз убьешь.

Неглупый. Смелый. Или очень жадный, если наемник. Сунуться в Колыбель Чумы, место, с которого началась эпидемия, – чего-то да стоит.

– Убью, – киваю я. – Но быстро и без боли, если скажете, кто вас навел. А если не скажете – позавидуете вот этим.

Киваю на умертвия, что вяло копошатся рядом. Если белобрысая что-то и знает, то разве случайно. В глазах у нее настоящая паника. Матерый волкодав только зубы сжимает, глядя мне в лицо.

– Решили попасть в рай как мученики? – ласково спрашиваю я. – Вынужден огорчить. Рая не будет. Вы убили моего ученика...

Сажусь прямо на покрытый остатками гниющей плоти камень, чтобы заглянуть – лицо к лицу – в глаза церковника.

– Не будет ни рая, ни покоя. Сейчас я подниму пару мертвяков, и они будут вытворять с твоей подружкой такое, что ты представить не можешь. Такому ни в одном борделе не учат, уверяю тебя. Потом еще двух-трех... И еще... А ты будешь смотреть. Долго смотреть... И слушать... Пропущу ее через всех, кто тут не развалился на кости. А когда устану от воплей и зрелища, позволю ей себя убить. Как ваш бог встречает самоубийц, тебе напомнить?

Чужая усмешка, холодная и мерзкая, сводит мне губы, пока говорю. Соплячка тихонько ахает, пытаюсь вжаться в стену, продавить ее насквозь. И, кажется, даже вояку проняло. Давний шрам на переносице белеет, лицо начинает дергаться. Я продолжаю:

– Потом, если не поможет, эти хорошие люди, при жизни столь преданные вашей церкви, займутся тобой. Им наплевать, что ты не девка. И все равно, кого рвать на куски. А когда сдохнешь, ты к ним присоединишься. Я постараюсь, чтобы душа задержалась в твоём теле. Будешь чувствовать каждую минуту разложения, каждого червя, жрущего твоё мясо...

Немного рискую, конечно. То, что я обещаю сделать с бе-

лобрысой, невозможно чисто технически: умертвия могут разорвать человека заживо, но плотское желание – привилегия живой плоти. Оставить душу в мертвом теле не выйдет и подавно. Паладина напугать этим я бы не смог: проклятые ублюдки от союза магии с религией неплохо разбираются в теории. Ну, так паладина здесь и нет... А пачкаться я не хочу.

Будь церковный волкодав один, пришлось бы повозиться. Ненависти у него в глазах на троих. Злость пополам с беспомощностью – посмотреть приятно. И, похоже, не наемник. Тем на своих обычно плевать, а со мной он бы сразу попробовал договориться. Но когда соплячка начинает тихонько подвывать от ужаса, глядя на подползающего по моему жесту мертвяка, ее напарник ломается.

Он просит меня поклясться: сдавленный голос звучит глухо и покорно, взгляд волкодав прячет. Я клянусь. Клянусь не делать ничего из того, что обещал, и вообще не прибегать к магии. Конечно, имени он не знает. Скорее всего, имени не знал и погибший паладин. Но мельком увиденной приметы мне достаточно, чтобы сложить два и два. Не так уж много людей знало о нашей с Ури вылазке...

Я киваю почти с благодарностью. А потом, чтобы не зарывать от боли и ненависти, сжимаю в ладони заговоренные стрелки, кроша сухое дерево в мелкие щепки. Затем развязываю девчонку, вручая ей арбалет. Второй кидаю вояке. И объясняю положение дел. Ухожу не оглядываясь, не опасаясь.

ясь болта в спину... Я не смелый, просто у меня очень хороший щит и они его видели в деле...

Тело Ури лежит там, где я его оставил, магия, поднимающая мертвецов, моя магия, тщательно обошла его стороной. Я сажусь рядом, запускаю окровавленные пальцы в длинные светлые волосы и замираю на несколько долгих ударов сердца.

– Ури... Мальчик мой... Прости... Я должен был запретить... Но я так боялся, что это тебя сломает... Он заплатит за твою смерть. Непременно заплатит... Клянусь...

Осторожно расстегиваю куртку, словно могу потревожить раненого, вытаскиваю из нагрудного кармана большой, слабо светящийся пузырек. Чума пришла достаточно давно, чтобы мы – те, кто знал, – успели принять меры для защиты. Ури пошел дальше. Он сотворил исцеление. Простые, как и все гениальное, чары. Выпусти их – и источник болезни обернется спасением. Нужно лишь попасть в место, где началась эпидемия. Покинутый город, чье название не произносим даже мы. Ури был гением. И он до сих пор жалел людей. Очень вредное сочетание для ученика некроманта. Но я не смог отказать, когда мальчик захотел испытать свое творение. Провести портал в Колыбель Чумы, город без единого живого человека, выйти, разбить пузырек, вернуться обратно... Что может быть проще и безопаснее? Я пошел с ним лишь ради того, чтобы разделить минуту его триумфа да помочь с порталом. Что мне за дело до людей и их Чумы?

Студеный ветер шевелит светлые пряди, несет по площади пепел... Стекло бутылочки холодит пальцы. Я хорош в своем деле, но таким, как Ури, мне не стать никогда. В девятнадцать он создал средство от чумы. Что бы он еще принес в этот мир? Мир, который его убил.

С другого конца площади слышится сухой щелчок. Да, самоубийцам путь в их рай заказан. А чума убивает медленно и мучительно. Эти двое пробыли в ее Колыбели достаточно долго, чтобы пропитаться заразой насквозь. И дело только в выборе: кто из них поможет другому уйти быстро и без боли, оставив себе отвратительную смерть... Кто подарит товарищу желанную участь мученика, обрекая собственную душу на посмертную кару убийцы? Пожав плечами, я все же поднимаю голову. Мне любопытно... Серебристый огонек девчонки тускнеет, рассеиваясь. Интересно, пришлось ли ей умолять или спутник сам сделал выбор? На самом деле не так уж и интересно.

Поднимаюсь, все еще держа в застывших пальцах пузырьки. Портал колышется в двух шагах, приглашая... Ури так мечтал об этом... Мне нет дела до их жизни и смерти, их бога и их чумы. Они не заслужили ни прощения, ни пощады! Но он был моим учеником. И выполнить его желание – все, что я могу сделать. Месть – для меня. Но для Ури – это. И никто никогда не узнает, почему ушла Чума, верно? Резкий порыв ветра кружит пепел, приносит печальный звон колоколов мертвого собора... Ни их Свет, ни моя Тьма не мо-

гут решить за меня. Я разжимаю пальцы, и спустя мгновение тонкое стекло разлетается вдребезги на каменной мостовой Колыбели.

*Где-то на северо-западе Арморики, Звездные холмы; кэрн
Дома Боярьшника*

*Полнолуние самониоса, 17-й год Совы в правление короля
Конуарна из Дома Дуба*

В темной комнате горит огонь. Трещит, рассыпаясь золотыми искрами, облизывает изнутри каменные стенки очага. Иногда тянется языком пламени наружу, и тогда сидящий перед очагом протягивает навстречу пальцы – огонь, словно испугавшись, отдергивается от них, прячась обратно в очаг.

– Даже пламя боится холода в моей крови, – тихо говорит сидящий, отбросив назад длинные пряди распущенных седых волос.

– Огонь останавливают огнем, – негромко отвечают ему из темного угла. – И в тебе еще достаточно собственного пламени.

– Не льсти, – усмехается тот, кто смотрит на огонь. – Я позвал тебя не для того, чтобы слушать утешения. Мое время уходит.

– Я слушаю, – отзывается темнота.

– Тем, кто стоит на пороге, видны обе стороны. Я смотрел назад, где остаются они, и вперед – куда уйду я. Мир колеблется. Мир на грани. В этот Самайн начнется то, чему лучше

бы не случаться...

– Я слушаю, – снова откликается темнота, когда он замолкает.

– Трижды бросал я руны на прошлое, настоящее и грядущее. И трижды выпадали ворон, сломанная ветвь и колесо. Но голос рун молчит для меня.

– Так ли это? – спрашивает темнота.

– Это так. И не говори мне о том, чья ветвь сломана. Я не хочу слышать.

– Тогда мне придется молчать, – говорит темнота.

– Он мертв для сидхе. Ветвь отделена – ей не прирасти снова на то же место.

– Сломанные ветви, бывает, пускают корни, – шепчет темнота. – Но, став деревом, ветвь остается собой. Из дуба не вырастет яблоня, а из омелы – шиповник. И боярышник все равно будет...

– Замолчи, – роняет сидящий у очага.

– Молчу, – равнодушно соглашается темнота.

И снова только огонь что-то бормочет на языке треска и искр, пока сидящий возле него снова не размыкает сухие губы на желто-сером, словно пергаментном, лице. Тот, кто увидел бы его сейчас, мог бы принять за человека, но у людей не бывает глаз, сияющих в темноте.

– Не так я хотел бы уйти. Не на ложе, больным и слабым, окруженным стервятниками и сухой листвой мертвых побегов. Мой дом – великий дом сидхе – гибнет.

– Ты велел мне молчать, и я молчу, – говорит темнота.

– Говори.

– Сломанная ветвь может пустить корни. И если на нее сядет ворон, колесо повернется вновь.

– Или нет?

– Или нет, – соглашается темнота. – Самайн грядет. В крови, тьме и кличе Дикой Охоты. Великий Самайн, открывающий врата вечности. Кто-то уйдет в эти врата, но кто-то может и явиться.

– Я сам сломал эту ветвь и иссушил ее. Никогда ей не пустить корни, – молвит сидящий у очага.

– Кто знает... Мир вращается в Колесе. Все еще крутится. И меняется с каждым поворотом. Сделанное тобой кто-то может и отменить.

– Так ли это? – спрашивает сидящий у очага.

– Это так, – отвечает темнота. – Но все имеет свою цену.

– Назови ее.

И темнота смеется сухим шелестящим смехом. Она смеется и смеется, а плечи сидящего у огня сгибаются все ниже, словно боль терзает его изнутри.

– Назови цену, – шепчет он наконец. – Назови ее...

– Брось руны еще раз, – шелестит темнота. – Без мыслей, без надежды на тот ответ, которого ты жаждешь.

Дотянувшись до сморщенного мешочка из светлой кожи, сидящий у очага встряхивает его в дрожащих ладонях и, не удержав, роняет. С тихим стуком кусочки дерева катят-

ся по каменным плитам. Замерев, сидящий у очага смотрит на них. Пустая, пустая, пустая... Гладкие, словно только что выструганные и еще девственно-чистые деревяшки рассыпались на полу.

– Видишь, – шепчет темнота, – не мне назначать цену. Но ты волен определить ее сам, когда придет время. Сможешь найти среди этих рун Ворона? А Сломанную ветвь? Отыщи Колесо... Не можешь? Тогда жди. Ты дождешься, обещаю. Я даю тебе время. Ты увидишь, как мир дрогнет, когда Колесо повернется. И уйдешь так, как захочешь. А я подожду. С тобой было весело, Боярышник из рода Боярышников, и я умею благодарить за веселье. Но ты – не благодари. Успешь...

Тишина. Только огонь обиженно трещит про что-то свое. Может, про то, что тьма в комнате сгущается и из угла веет холодом, словно кто-то открыл дверь, уходя куда-то в очень холодное и темное место, из которого теперь дует и дует ледяной темный ветер. Но вот сидящий у огня поднимает голову, снова протягивает пальцы к огню, как к живому зверю, – и тот не отдергивается, приникая ласково и покорно, облизывая их – и не обжигая.

– Я подожду, – соглашается сидящий у очага, собирает пустые руны и забрасывает их в огонь. Яростно вспыхнув, пламя озаряет изборожденное глубокими морщинами лицо, на котором живы только глаза.

Глава 1

Долгая ночь Самайна. До полуночи

Западная часть герцогства Альбан, баронство Бринар

31-й день децимуса, год 1218-й от Пришествия Света Истинного

Когда я попаду в преисподнюю, там будет холодно. А еще темно и мокро, в точности как сейчас. И дождь... Ледяной, бьющий в лицо, пробирающий до костей студеным ветром. Ненавижу, когда дождь, ночь и дорога – вместе. До Стамасса еще миль десять, кожаный плащ давно не спасает от сырости, волосы липнут к лицу, одежда не греет, а забирает последние крохи тепла. Проклятый дождь, проклятая дорога, проклятая осень... Преддверие Самайна – время тьмы и холода.

И надо же было архиепископу Арморикскому припереться в Стамасс именно сейчас! Использовать портал теперь не выйдет: Инквизиториум накрыл срединную часть герцогства плотным куполом, чтоб никто не подобрался к его светлейшеству, используя нечестивую магию. В город меня после тушения огней тоже не пустят, да и нечего делать волку на собачьей свадьбе. Значит, ночлег надо искать ближе. Дюжину лет здесь не был, но повороты и перекрестки не путаю: тусклые огни пробиваются сквозь мглу, когда я уже всерьез обдумываю, как проломить купол, не подняв по тревоге всех

церковных овчарок поблизости.

В трактире тепло. После промозглой сырости снаружи это настоящее блаженство. Если бы еще не запах... Зал с низкими прокопченными балками забит народом. Едва переступая порог, перехватывает дыхание и начинают слезиться глаза: крепко воняет псиной, тухлой рыбой, дымом и кузнечной гарью, гнилью, мочой и просто застарелым потом. Я с трудом пробираюсь к свободному месту, стараясь поменьше соприкасаться с людьми. Может, среди этого сброда затесалась парочка умертвий? Ничуть бы не удивился, очень уж запахи знакомые. Опять же Самайн на дворе.

Впрочем, умертвия ни при чем. От мокрых кожаных плащей, грязных тел и волос воняет даже хуже, чем от трупов. Неужели Свету Единому настолько не угодна чистота? Могу понять смысл умерщвления плоти, это действительно смещает баланс в сторону души, но почему так? Не постом, не целомудрием, не отказом от зависти, гнева и прочих страстей. Нет, святость у них начинается с вони и чесотки. Бред. Желай их бог именно этого, не косил бы свою паству болезнями. А холера вспыхивает все чаще, не говоря уж о язвенной заразе и моровой чуме...

Опускаюсь на скамью в темном углу между очагом и дверью, дергаю за рукав пробегающую мимо девчонку с подносом. Ошалело кивая, она слушает, уносится, и через пару минут передо мной стоит глиняная миска с горячей похлебкой из мяса и бобов. А еще нераспечатанная бутылка вина,

копченая курица и несколько лепешек. Ложку приходится вытереть о подкладку плаща, но похлебка, как ни странно, вкусная. Горячее варево быстро согревает тело. Только чеснока столько, что во рту начинается пожар. Но так даже лучше, хоть немного перебивает трактирную вонь. Да, отвык я от этого. От еды, дешевого вина, грубой одежды, запахов. Свысока смотрю. Брезгаю немытой посудой... Или все дело в том, что я просто отвык от людей?

Компания рядом хлещет вино и бурое пиво с таким азартом, что я почти завидую. Под куртками и плащами – кожаные доспехи, на простых поясных ремнях – длинные ножи. То ли солдаты, то ли разбойники. Невелика разница, кстати. От гомона в зале уши закладывает, каждый старается докричаться до соседа. Но у этих за столом особенно шумно. Да и близко они, так что не нужно даже прислушиваться, – пронзительный голос режет спертый воздух, как свиной визг:

– А я тебе говорю, есть там призраки! Один уж точно – сам старик, хозяин замка!

Ну да, Самайн же – время страшных историй. Как ни стараются священники, вытравить память из народа нелегко. Не зря же люди в будничный день гуляют, как перед Окончательной Благодатью. Вот и страшилки в ход пошли...

– Сказки все это...

– И ничего не сказки! – горячится рыжий паренек в синем шерстяном плаще. – Мне лесничий барона Бринара рассказывал! В лунные ночи старик ходит по стенам замка, ищет

договор, который потерял. А договор – на его сына, проданного Проклятому. Оттого и весь замок Энидвейт проклят, что его наследника забрал Нечистый. И, пока младший Энидвейт не вернется, блуждать его отцу после смерти, не зная покоя...

Медленно ставлю бутылку на стол, так и не откупорив. Вот оно, значит, как. Что ж, кому и знать эту историю, как не людям Бринара... Хорошая сказка – в самый раз для Самайна. Проданные души, призраки, договор с Проклятым... И светлый Инквизиториум, как же без него! Твари... Тупая мразь, кичащаяся своей непорочностью и благочестием. Знать не знающая, что такое жить под тяжестью проклятия... Ненавижу. Не сорваться бы. Сейчас это совсем некстати. Не то время, не то место, чтоб сводить счета с прошлым.

А рыжий, завладев вниманием всего застолья, упоенно вещает:

– Когда барон решил заполучить Воронье Гнездо, он подкупил королевских судей, и те решили тяжбу со старым Энидвейтом в пользу Бринара... А наследник его – не помню, как звали, – был отмечен печатью Проклятого, только тот не мог забрать свою собственность, пока юноша ходил к светлому причастию и на службы... Мать его была ведьмой... Отец заключил договор... А явился Проклятый в облике огромного ворона...

Слышно мне не все, но и того, что долетает сквозь трактирный гул, более чем достаточно. Даже один из слушателей

не выдерживает:

– Ну, это точно враки! Как может ворон унести пятнадцатилетнего парня? Он что, с лошадь был, этот ворон?

– Нечистый и не то может, – чеканит рыжий. – Не зря же вся семья Энидвейта поплатилась за этого выродка... Его мать-ведьма...

Я накидываю капюшон, спрятав под ним приметные черные волосы и большую часть лица, чтоб не навели кого-то на ненужные мысли, когда буду проходить мимо. Сгребаю в сумку мясо, хлеб, так и не открытую бутылку. Надеюсь, дождь уже перестал. А может, и нет. Плевать. Если выехать сейчас, к рассвету можно добраться до Маглорского моста, а там и граница герцогства недалеко. Может быть, действие купола закончится даже раньше... Подзываю девчонку-разносчицу и выкладываю на стол пару серебряных монет.

– Господин уже уезжает? – поражается она, невыносимо медленно копаясь в карманах засаленного передника. – Но на улице ночь. Сегодня плохое время для дороги, ваша милость...

– Оставь сдачу себе.

Еще бы не плохое. Только сумасшедший пустится в дорогу, когда по земле гуляют духи Самайна. Сегодня их ночь. Открываются холмы сидхе, разверзаются могилы и склепы, переплетаются миры и судьбы. На дороге можно повстречаться с кем угодно: покойником, блуждающим духом, фэйри... А то и с кем-то из древних богов, если сильно не по-

везет.

Подхватив сумку, быстро выхожу в дверь, оставляя позади трактирную вонь, крики выпивох, испуганно вытаращенные глаза служанки. Эта сказка Самайна – не для меня.

Вряд ли мой Уголек, привязанный под навесом у переполненной конюшни, успел отдохнуть, но тут уж ничего не поделаешь. Конюх даже напоил его и приткнул к столбу охапку сена. Сообразил, наверное, что от хозяина дорогого эшмарского жеребца можно получить больше обычного медяка за усердие. Только вот его самого рядом нет, хоть всю конюшню уводи. Тоже празднует, что ли? Подтянув подпругу, я протягиваю коню хлеб и терпеливо жду, пока бархатные губы снимают краюшку с ладони. Потом, положив монету на край яслей, отвязываю повод и вскакиваю в седло. Уголек недовольно фыркает – ночной холод не нравится и ему.

Ничего, потерпим. Я тоже хочу домой: к любимому креслу перед жарким камином, библиотеке, горячему вину со специями. И к лаборатории, конечно. Денег, полученных сегодня за несложный, но грязный алхимический заказ, хватит на несколько действительно интересных экспериментов... Выезжая за ворота, я почти верю себе, что просто хочу вернуться в убежище.

Дождь действительно перестал, но небо по-прежнему затянуто пологом тяжелых осенних туч, отчего ночь кажется густой, вязкой. Резкие порывы ветра бьют то с одной, то с другой стороны, холод мгновенно забирается под влажный,

тяжелый плащ. Зато дорога совершенно пустынна: даже Псы Господни сегодня не высунут носа за порог. Миля... Еще одна... И еще... Не заблудиться бы. Глупо, Грель. Можно уехать из трактира, подальше от пьяной болтовни, но от себя не уйдешь... Ветер все сильнее, чернильную тьму впереди прорезает яркая вспышка. Ну вот, только грозы не хватало!

Раз... два... три... четыре... десять... Может, грозу пронесет мимо?

Грохот обрушивается с такой силой, что я невольно пригибаюсь в седле, а Уголек испуганно храпит и мотает головой. Пара миль до того места, где ударило. Далеко. Пока еще далеко... Вернуться в трактир? Нет уж... С трудом удерживая танцующего на месте коня, вспоминаю дорогу. За двенадцать лет деревянная часовенка могла развалиться или сгореть. Но если цела – там можно переночевать. Значит, еще немного по дороге, а потом в лес.

Бело-голубое сияние вновь заливают холмы, петляющую дорогу, редкие деревья. Раз... два... три... восемь... Удар! Стоит поторопиться. Тучи полыхают молниями все чаще. И гроза ближе: между следующей вспышкой и раскатом грома я успеваю сосчитать лишь до пяти. Каменный столб, отмечающий поворот к часовне, как живой, выскакивает из тьмы. Несколько мгновений я еще колеблюсь, ночной лес хмур и неприветлив. А потом, после приглушенного деревьями громохання, по всему телу прокатывается волна страха, еще раньше, чем слышится многоголосый вой охотничьих рогов.

Проклятье! Уголек встает на дыбы – я еле успеваю развернуть его в нужную сторону. Взбесившиеся ветки летят навстречу, конь хрипит и рвет уздечку, пугаясь старой, заросшей дороги...

Теперь выбора не осталось точно. Фэйри-одиночек я не боюсь, а повстречай призрака или умертвие – только посмеялся бы. Но Дикая Охота – дело другое. Обычный человек, оказавшись на пути у темной своры, может упасть ничком, заткнуть уши и переждать беду. Если повезет – Охота пролетит мимо, обдав ледяным ужасом и оставив на память седину в волосах. Неудачника подхватит с собой, закружит и унесет до утра. А вернувшись домой, прежним он уже не будет... Вспоминать ему до конца дней безумную скачку над землей наперегонки с бешеным ветром и смертью. Но если с Охотой столкнется чародей... это добыча лакомая и редкая. Мне совсем не улыбается стать игрушкой в холмах сидхе. А между мной и грозой – предвестием Охоты – меньше мили. И потому – вперед!

Протяжный вой рогов теряется вдали, но по телу все равно катятся волны дрожи. Керен говорил, что зов Дикой Охоты состоит из двух звуков. И тот, который не слышат человеческие уши, куда опаснее. Это он заставляет выть собак и беситься лошадей. Что ж, чувствуя коленями, как вздуваются бока Уголька, я верю в слова бывшего наставника.

В лесу темно и холодно. Полная луна с трудом пробивается сквозь тучи, и тропу еле видно. А еще меня преследует

ет ощущение взгляда в спину. Оно до того сильное, что я прикрываю глаза, сосредотачиваюсь и мысленно скользя на другую сторону Тени. Здесь все серо и мутно. Серебристые скелеты деревьев ровно светятся в полумраке, кое-где видны крошечные огоньки птиц и мелких зверюшек. Никого! Но между лопатками чешется, словно кто-то глядит поверх стрелы на уже натянутой тетиве. Или это от Рога Охотника такое чувство?

И я тороплюсь. Уголек фыркает, но теперь идет спокойно и быстро – у эшмарцев отличная выучка. До часовни мили полторы, не больше. Она стоит на месте старого капища, разоренного пару столетий назад, и это хорошее место, чтобы переночевать. Для меня – уж точно хорошее. Здесь камни еще помнят старую силу, которую новый бог так и не сумел приручить.

Тропа утоптана. Интересно, кто сюда ходит? И зачем? Когда за рекой построили большой монастырь, служить в часовне сразу перестали. Древний лес вытолкнул из себя чужаков, как плоть выталкивает занозу с гноем.

Молния режет небо почти над головой! Раскат! Я изо всех сил натягиваю узду, Уголек пляшет, рвется вперед, и следующая вспышка высвечивает черный силуэт часовни посреди большой поляны.

Петля поводка удобно ложится на столбик у полуразваленного крыльца, я успокаиваю лошадь чарами – заодно и отдохнет лучше. Запах сырости от деревянной стены, провалы уз-

ких окон, скрипучее крыльцо. Переступив порог, я замираю не больше чем на мгновение. Щит!левой рукой – мгновенную защиту, прижавшись спиной к дверному косяку; правой – светляка под потолок! Темная фигура, скорчившаяся на полу у алтаря, сдавленно вскрикивает. Та-а-а-ак... Прикрываясь щитом, обшариваю пространство часовни колдовским взглядом. Человек. Один. Свечение ровное и ясное, никаких амулетов, заклятий, только блестит искра натальной стрелки. Точно – человек. Не фэйри, не покойник. Уже хорошо. Шагаю вперед и возвращаюсь к обычному зрению. Мой светлячок разгорается сильнее, освещая всю часовню.

Вот оно как... Огромные светлые глаза, наполненные страхом, смотрят на меня с перепачканного грязью лица. Толстые рыжие косы вот-вот расплетутся, несколько прядей уже выбились наружу, в них запутались сухие листья. Плотно сжатые губы. Темный шерстяной плащ с меховой опушкой испачкан внизу грязью. Она сюда пешком пришла? Одна? Сегодня?!

Делаю шаг вперед, и женщина еще сильнее вжимается спиной в деревянный алтарь. Да уж! Меня и днем-то можно испугаться.

– Кто вы, госпожа?

Молчит. Но стоит мне сделать еще шаг – в руке незнакомки блестит лезвие длинного охотничьего ножа. И держит она его хорошо, правильно держит. Ну, если ей так спокойнее – пусть.

Пробую еще раз:

– Откуда вы тут взялись? Говорить умеете?

Она тихонько кивает. Значит, просто боится? Блестящие глаза внимательно изучают меня с ног до головы. Вряд ли осмотр ее успокоит. Выгляжу я наемником или бездеспешным рыцарем. Не лучшая компания для женщины ночью в лесу. А если еще добавить огонь под потолком...

– Я вас не трону. Не бойтесь.

– Почему я должна вам верить, господин?

Вот и голос прорезался. Приятный голос, кстати. В меру низкий, мелодичный, с легкой хрипотцой. И выговор не местный.

– А что вам еще остается? – усмехаюсь я, присаживаясь на останки скамьи в нескольких шагах от нее. – Сегодня ночь Самайна. Не то время, чтобы чинить кому-то обиду.

– Вы... чтите старых богов?

– Я помню, что это их земля. А теперь говорите, откуда вы взялись и что тут делаете?

Она еще плотнее сжимает губы, с вызовом глядя на меня. Красотка с характером.

– Госпожа, я не оставлю рядом с собой в такую ночь неизвестно кого. Не хотите говорить – выставлю вас наружу, – спокойно сообщаю, любясь сердито сверкающими глазами. А она уже далеко не девочка. Лет тридцать? Пожалуй. Кожа еще молодая, и губы пухлые. Но в уголках глаз морщинки. И какое-то странное ощущение от ее внутреннего сия-

ния: словно оно временами двоится, бросает отблеск. Ведь-
ма? Нет, что-то иное.

– Вы... Вы же обещали!

– И что? – лениво интересуюсь я. – Зла вам я не причиню.
Просто ночевать будете снаружи.

Она косится на мой светляк и заметно напрягается. Переводит на меня взгляд, светлые глаза смотрят жалобно и наивно. Слишком наивно.

– Я ехала на богомолье. В монастырь святого Матилина, он здесь совсем рядом. Но в лесу на нас напали. Какие-то люди в отрепьях... Наверное, разбойники. Моя лошадь испугалась факела и понесла. Я так боялась! Вцепилась в повод и держалась изо всех сил. А потом она устала и успокоилась. Только я заблудилась. Прошу вас, господин, кто бы вы ни были, не причиняйте мне зла...

В течение всей истории я смотрю на нее и улыбаюсь. И под этой улыбкой она смущается все сильнее, пока не замолкает, нервно теребя край плаща.

– Вам не холодно на полу, госпожа? – участливо осведомляюсь я наконец. – Говорят, ложь студит сердце...

– Что? Но почему...

Ее растерянность слишком сильна, чтобы быть настоящей, и я морщусь.

– Почему я вам не верю? Вы плохо меня слушали. Не знаю, откуда вы родом, но здесь ни один разбойник не поднимет руку на путника в дни и ночи Самайна. Старые боги

не ушли, они все еще дремлют в холмах и реках этой земли. Сегодня вы можете постучаться в любой дом, и вас примут с радостью, потому что гость в Самайн – добрая примета и благословение от богов. Как никто и не откажется от гостеприимства. А теперь хватит врать, если хотите ночевать под крышей. Откуда вы пришли? Я не видел никакой лошади.

– Не ваше дело! Лошадь позади часовни, – огрызается она. А потом вздрагивает и сжимается в комок.

Ночь тиха. Так тиха, что я слышу дыхание незнакомки, неровное и прерывистое. Издалека доносится удар грома и долгий жуткий вой охотничьего рога. Вот же будь оно неладно! Я был уверен, что Охота пролетела мимо.

Женщина смотрит на меня пустыми глазами, на дне которых плещется ужас. А звук рога медленно, очень медленно приближается.

– Значит, шла на богомолье? – медовым от ярости голосом осведомляюсь я. – И случайно забрела в старую часовню на освященной земле? Дрянь! Что ты натворила? Дикая Охота никогда не возвращается по своим следам. Разве что дичь хорошо петляет!

Рванувшись вперед, я хватаю ее за руку с кинжалом, выворачиваю тонкое запястье и слышу звон падающей железки. Женщина снова вскрикивает, тонко, как раненая олениха.

– Прошу вас...

– Это не суд короля или Церкви, тварь! Охота преследует убийц, предателей и клятвопреступников. Чья кровь зовет

месть на твою голову? Ладно, это и впрямь не мое дело, – внезапно успокаиваюсь я. – Пошла вон. Я не хочу погибать вместе с тобой.

– Нет, нет, нет!

Она мотает головой, вырываясь, бьется в моих руках, косы хлещут воздух. Сильное гибкое тело сопротивляется отчаянно, не желая умирать. Улучив момент, у самой двери она змеиным движением кусает меня за руку и, вырвавшись, вцепляется в косяк мертвой хваткой. Из открытой двери несет мертвенным холодом. Тихий, далекий пока еще звук рога, ушедший куда-то за часовню, отдается в костях болью.

– Я не виновата! Прошу вас! Я просто спасала своих детей! Он хотел принести их в жертву! Пощадите!

Мы застываем на пороге в подобии странных, извращенных любовных объятий. Мгновение слабости. Но она звериным чутьем ловит его и скулит, заглядывая мне в глаза:

– Прошу вас. Прошу! Помогите...

Я рывком отдираю ее от косяка и швыряю обратно в комнату, захлопнув за спиной дверь. Длинный плащ взмывается и цепляет обломанный край алтаря. Полы распахиваются, открывая светлое бархатное платье, отделанное кружевом. А грудь хороша – высокая и полная. Дорогое платье обрисовывает тонкую талию, амфору бедер... Не о том думаешь, Грель!

Она смотрит на меня огромными, широко распахнутыми глазами, в которых не то страх, не то что-то еще – некогда

разбираться.

– Быстро! И не вздумай врать! Кто «он»?

– Мой муж, – шепчет она отчаянно, сжимая полы плаща в холеных, нежных руках. – Он колдун и чернокнижник. Я не знала об этом, когда выходила за него. Клянусь, не знала!

– И он решил принести собственных детей в жертву? – недоверчиво переспрашиваю я.

Виски сводит глухая боль. Ну не забавно ли? Воистину, нет ничего нового под луной...

Женщина мотает головой:

– Нет, это не его дети. Я была вдовой. Эреку и Эниде четырнадцать. Они близнецы. Я... случайно подслушала разговор мужа с замковым священником. Думала... думала, он мне изменяет! А он хотел купить их душами милость Нечистого! Говорил: что удалось одному, то и у другого получится...

Порыв ветра тугим комком холода влетает в окно часовни. Факел бы точно погас. Но магическому светляку все равно: он сияет ровно и бесстрастно, ничуть не колеблясь. Но когда через то же окно врывается явно близящийся звук рога, даже светляк мигает. Охота очерчивает круг? Значит, дичь обречена.

– Вот как? Решил повторить удачную сделку? Да, близнецы – хороший товар...

Мои губы сводит гримаса. В горле встает горький плотный ком, и я с трудом проталкиваю наружу слова:

– А при чем тут Охота? Пусть вы его убили. А вы ведь убили его, да, госпожа? Почему они пришли за вашей головой? Разве вы венчались по старому обряду?

– Н-нет... Я выходила за него в церкви, как положено! Она всхлипывает, по грязным щекам катятся слезы.

– Он говорил, что примет моих детей как родных. У него же не было своих! А теперь... теперь...

– Теперь вы понесли во чреве, да? – тихо подсказываю я, понимая наконец все. Вот откуда двойной отблеск ее души. – И чужие дети стали ему не нужны. О да, близнецы – редкость... Хорошая цена. А вы убили отца своего ребенка в канун Самайна. Хотите, я скажу, кто взывает к Дикой Охоте о мести? Ваше дитя. То, что вы носите сейчас. Вы выбрали плохое время, чтобы призвать смерть, госпожа. Мне жаль, но умирать вместе с вами я не хочу. Какого Проклятого вы не укрылись в монастыре?

Мне действительно жаль. Даже удивительно. Впрочем, что тут странного? Она спасала детей. Им повезло. Не всем так везет. Комок в горле разрастается, выпускает огненные щупальца в грудь, тянется к сердцу... Я не хочу ее жалеть. Я не должен! Пусть даже она и сделала то, что не смогла много лет назад другая женщина.

– Ну почему вы не пошли в монастырь? – безнадежно повторяю я, глядя, как мерцает от воя рога светляк под потолком. Близко! Так близко...

– Я не могла, – тихо отзывается она, вскидывая голову. –

Я... столкнула его с лестницы. Он упал, но был все еще жив. Я... хотела добить его. И добила бы! Эрек... Он тоже все слышал. И он...

– Добил его вместо вас?

– Да. Они с Энни сейчас в монастыре. Я побоялась ехать с ними. Священник в замке, он был с мужем заодно. Я отравила детей, а сама осталась, чтобы помешать ему выслать погоню. А потом мне стало страшно. Так страшно! И я услышала охотничий рог...

Все верно. Охота всегда знает, где дичь. Но у дичи есть фора. И чутье ведет ее туда, где есть хоть какое-то убежище. Проклятье! Они же будут здесь через несколько минут! Неважно, что она была права. Кровь, пролитая в Самайн, всегда взывает к крови. Он был отцом ее ребенка. Она увела Охоту от настоящего убийцы, но вина лежит и на ней. Трижды проклятье! Я стискиваю зубы так, что челюсти сводит болью. Часовня не устоит. Камни капища в ее основании возопят о возмездии и древнем законе. И дадут Охоте право войти. О да... Чтобы укрыться от Дикой Охоты – это неудачное место. Я поворачиваюсь к женщине, с мольбой смотрящей на меня.

– Вам придется уйти, госпожа. Мне жаль...

– Вы не можете, – беспомощно говорит она, и слезы продолжают литься. Без рыданий, без всхлипов. Просто крупные прозрачные капли катятся по щекам, блестя в голубоватом сиянии светляка. – Вы же не можете просто отдать меня

им.

– Две жизни или одна – Охота не будет разбираться. Их ведет безумие, они жаждут крови и всегда ее получают. Эта часовня их не удержит. Задолго до того, как земля была освящена, она знала другой закон.

– Но вы же...

– Я чародей, а не самоубийца! – грубо обрываю я, делая шаг. – Или вы выйдете сами, или выкину силой.

Вой... Совсем близко. Внутренности скручивает болью. Страх, неправдоподобный, вне всякого рассуждения, заливает реальность вокруг, сгущает воздух так, что не вдохнуть. Кислый, острый, режущий легкие... От него хочется плакать, кричать и бежать в ночь, пока сердце не разорвется. Женщина ахает, хватаясь за живот. Плащ распахивается, и я вижу фибулу, которой он был застегнут. Плоский золотой диск с четким, искусно вырезанным гербом. Волк, воющий на луну. Нет... Так не бывает. Так просто не бывает... Даже со мной. Даже в Самайн! Да нет же!

Наверное, я говорю вслух. Или она что-то видит в моем взгляде, потому что из светлых, помутневших от боли глаз плещет ужас. Не отводя от меня взгляда, она тихонько пытается отодвинуться, как от бешеной собаки, что вот-вот кинется.

– Бринар? – четко и звонко выговариваю я непослушными губами. – Ты жена барона Бринара? И он мертв?

Ответа не нужно. Я читаю его в перепуганных глазах, дро-

жащих губах, бледной до прозрачности коже. Шагаю вперед на негнувшихся ногах и глажу по холодной мокрой щеке женщину, которая убила Седрика Бринара. Женщину, которая носит его наследника, последнего из рода Бринаров.

– Хочешь жить? – мягко спрашиваю я ее. – Вернуться к своим детям, забыть этот ужас?

Она открывает рот, но лишь молча кивает, не отводя взгляда. О, еще бы она его сейчас отвела...

– Я тебя спасу. Уведу Охоту за собой. А ты отдашь мне своего ребенка, когда он родится. Конечно, если я сегодня выживу, – добавляю с усмешкой.

Несколько мгновений она недоуменно таращится на меня. Потом яростно мотает головой, прикрывая руками еще совсем плоский живот. Красивая, сильная... Барон удачно женился. Все эти годы, когда моя семья гнила в земле, он наслаждался жизнью. Сладко ел и пил, валял красивых женщин, считал себя победителем. Когда-то я отказался от мести, чтобы забыть, кто я. Оказывается, забыть нельзя.

– Тогда умрешь. И ребенок все равно умрет вместе с тобой. А тот священник обязательно доберется до твоих детей.

Она хватая воздух ртом, как рыба, выброшенная на берег. Но мне не жаль. Ничто на свете не имеет больше значения, кроме того, что прямо передо мной – только руку протяни. На миг мелькает мысль: просто убить ее вместе с ребенком. Но это не то. Совсем не то! И я улыбаюсь, глядя на отчаянье, слезы, перекошенный рот. Я бы пожалел ее за то,

что она сделала. Правда, пожалел бы. Но не могу.

Волна неслышного звука накатывает неожиданно. За окном тонко и жалобно ржет привязанный Уголек. Боль пронизывает меня от макушки до пяток, заливает ужасом и отворачиванием. Я медленно и глубоко дышу, пропуская ее насквозь, не задерживая, позволяя уйти. А вот вдова так не умеет. И боль сгибает ее пополам, подтягивает колени к груди, вырывает хриплый стон.

– Это только начало, – нежно говорю я, садясь на корточки и заглядывая ей в глаза. – Когда Охотник вырвет твое сердце, ты будешь благодарить его за это. И твой ребенок – тоже.

– Зачем?

Она хрипло дышит, опираясь рукой на грязный каменный пол:

– Зачем он тебе? Тоже... в жертву?

Я даже фыркаю от нелепости предположения:

– Младенца для жертвы я могу купить почти в любой деревне. За золотой или меньше. Стоило бы жизнью рисковать...

– Тогда... зачем?

А она действительно сильная. Я только боюсь, чтобы не случился выкидыш. Бисеринки пота блестят на бледной коже, мешаются со слезами и вместе с ними стекают по щекам. Она облизывает сухие, только что потрескавшиеся темно-розовые губы и снова спрашивает:

– Зачем?

Я мог бы солгать. Но судьба, которая свела нас сегодня, не любит фальши и нечестной игры. И я снова протягиваю руку и трогаю липкую от слез и пота кожу на скуле, убираю влажную прядь, прилипшую к щеке. На губах у нее крошечные капли крови.

– Он последний из рода. Помнишь, твой муж говорил о том, что у кого-то это уже однажды получилось? Двенадцать лет назад мой отец продал меня чародею за спасение всей семьи. Правда, это не очень помогло. Из всех остался в живых только я. Забавно, да? Я единственный наследник. Только вот у таких, как я, не бывает потомства. И род на мне прервется. А виноват в этом твой покойный муж, натравивший на мою семью инквизиторов. Я не успел рассчитаться с ним. Сам виноват, конечно. Но, если ты отдашь мне его наследника, Бринар перевернется в гробу. Обещаю, я не убью ребенка. Но сын или дочь Бринара не будут владеть его наследством, если я не могу владеть своим.

Она снова облизывает губы. Рыжие растрепанные косы метут пол. Я почти вижу, как проносятся ее мысли. Дитя колдуна и убийцы против жизни ее любимых старших. И ведь она может потерять его раньше срока. Или меня убьют сегодня. Или потом. Или удастся подменить ребенка на другого...

– Даже не вздумай, – ласково предупреждаю я, лениво протягивая между пальцами кончик ее косы. – За этой сделкой будет следить сама судьба. Я заберу ребенка на следующую

щий Самайн, где бы ты ни была. А попробуешь обмануть – убью твоих близнецов. Или выходи к Дикой Охоте сама. Ну что, согласна?

Время останавливается, как стрела в полете. Та стрела, что вот-вот проткнет тебя насквозь. Говорят, на ней можно разглядеть каждое перышко, только сделать ничего не успеваешь. Я слышу, как бьется ее сердце. И как стучат призрачные копыта, высекая искры из тумана. Смерть совсем рядом. Летит, неся шлейф безумия и ужаса...

– Да! – выдыхает она отчаянно.

– Сделка заключена, – торопливо соглашаюсь я.

Взлетаю с пола одним движением. Алтарь – пустое. В нем давно ни капли силы. Отшвырнув громоздкие обломки, тяну ее за руку на середину. Подхваченным с пола кинжалом рассекаю ладонь и кровью рисую вокруг съездившейся жертвы круг. Второй, вокруг себя, вычерчиваю острием кинжала. Не так сильно, но сойдет. Мне и нужно всего несколько мгновений отыграть...

– Закрой глаза, – велю ей. – И не вздумай смотреть на Охотника. А лучше сядь на корточки и спрячь лицо... Если у меня получится, отправляйся в монастырь и требуй встречи с аббатом. Расскажешь ему про своего мужа, только про нашу встречу молчи. За убийство колдуна тебя не осудят. Скажешь, что отсиделась в часовне. Круг перед уходом сотри – совсем, чтобы и следа не было. Лучше бы, конечно, часовню сжечь... И непременно Расскажи про того священника. Ты

все поняла?

Если она и отвечает что-то, то я не успеваю расслышать. Дверь вылетает, как от удара тарана. Сама тьма врывается в часовню. Такая плотная и густая, что можно резать ножом. Сгусток мрака и холода, средоточие зимней ночи и древнего ужаса, дремлющего в глубине каждой души. Фигура на пороге выше меня на две головы, а в плечах такова, что не проходит в дверь.

Мой светляк под потолком вспыхивает и меняет цвет на мертвенно-зеленый. Но это уже не мой светляк – чужая магия...

Охотник делает шаг, и дверной проем разлетается в стороны, чтобы потом собраться за его спиной, – освященное дерево боится коснуться древнего ужаса. Никогда такого не видел...

Огромные ветвистые рога венчают голову, как корона, длинные седые волосы спадают на плечи. Он одет в шкуры, сшитые и перетянутые грубым кожаным поясом. На поясе рог и кремневый нож в локоть длиной. Его сапоги перепачканы то ли бурой глиной, то ли старой кровью. Я готов рассматривать что угодно, лишь бы не поднимать взгляда к его лицу. Но у меня не получается. Тьма, холод, ужас и смерть смотрят из его глаз прямо мне в душу. Я хочу упасть на колени, а еще лучше уткнуться лицом в пол. Молить о милости и быстрой легкой смерти. Вырвать из груди собственное сердце своими же руками и поднести ему в дар. Потому что

он – вечность... Но вместо всего этого я заталкиваю глубоко внутрь вопль, рвущийся наружу, глотаю вязкую горькую слюну и смотрю ему прямо в лицо.

– Доброго Самайна тебе, Великий. Я выкупаю жизнь этой женщины своей жизнью.



Глава 2
Долгая ночь Самайна.
После полуночи



Голос хрипит и срывается. Стоящий на пороге смотрит на меня и на жертву в круге одновременно. Он видит каждую пылинку в проклятой часовне и слышит стук наших сердец, пляшущих в рваном ритме. За окном завывает буря, но как-то глухо, нестрашно. Трудно дышать. Его взгляд давит, как каменная плита, под ним хочется прогнуться назад, словно огромная рука толкает в сердце и голову...

– Я предлагаю свою жизнь за нее, – хрипло повторяю я. – Прими эту жертву.

В проеме позади него клубится тьма. Мелькают огни, оскаленные пасти, сверкающие красным глаза... Что, если я ошибся? Не хочу умирать. Не думать об этом. Нельзя думать...

– Что тебе до нее?

Грохот грома, шум леса, вой бури – вот что в этом голосе. Рычание дикого зверя, свист стрелы и лязг меча, шепот смерти за спиной – тоже в нем... Я и дышу-то еле-еле, а надо говорить.

– Мы заключили сделку, Самайн – свидетель.

– Сделку? – медленно переспрашивает он. – И какова цена твоей жизни, человек?

– Это наше дело. Ты принимаешь замену, Великий?

Он несколько мгновений смотрит на меня. Сердце, до этого грохотавшее, как копыта лошади в галопе, почти останавливается. Потом снова начинает биться, но медленно, с трудом проталкивая вязкую кровь по сосудам. Хватаю воздух

ртом, дышу с трудом... В глазах темнеет. Или это просто мой светляк иссяк, придавленный чужой мощью?

– Выйди из круга, человек, – гроыхает грозовой раскат.

«Выйди», – лязгает меч, ударяясь о щит где-то далеко, в невообразимой глубине времени.

«Выйди... выйди...» – шепчет лесная листва.

Я почти подчиняюсь. Почти делаю шаг из круга, навстречу манящим болотным огням его глаз. И только вскрик за спиной приводит меня в чувство. Дура, я же велел ей не смотреть! Но получилось кстати. Еще бы чуть – и вышел!

– Нет. Ты не пообещал мне, Охотник.

Серый камень скалы трескается от солнца и влаги. Узкая изогнутая щель в недрах камня – его улыбка...

– Да будет так. Третий раз предложишь ты свою жизнь – и я соглашусь. Выйди же из круга, и покончим с этим. Ночь слишком коротка, если она всего одна в году!

Но я упрямо мотаю головой, собирая остатки стойкости. Выйти сейчас – немедленная смерть. Не хочу умирать у его ног, разорванным на куски. Мое сердце – не для его ножа.

– Дай мне время. Я вправе просить об этом. Если верно то, что рассказывают о тебе, ты – Охотник, а не палач. Дай мне время уйти.

Колени дрожат, будто дня три не ел. Светляк почти погас, уже не сильнее свечки. Но я терплю. По каменному лицу ничего не прочесть, лишь голос колышет стены часовни, и они дрожат от его гнева.

– Сколько времени ты хочешь, человек?

Ритуалы... легенды... сказки... Я вспоминаю все, что может помочь. Свечей здесь нет. Но есть сухие щепки...

– Пока горит лучина.

То ли он чуть умерил свою силу, то ли я начал привыкать, но дышать стало легче. Или я просто трачу последние силы, даже не замечая этого. Плохо. Что ж, сам напросился.

– Нет.

Охотник все-таки переводит взгляд с меня. Ловлю воздух, жадно дышу полной грудью, с которой убрали надгробную плиту.

– Ты, женщина, купившая свою жизнь чужой смертью. Знаешь ли ты старые песни?

– Да, господин.

Голос у нее тихий, напряженный, но не слабый. Сколько же в этой чужеземке силы? Бринар – болван. Ему бы на руках ее носить.

– Тогда ты будешь петь, – слышится рокот морской волны.

«Петь... будешь петь», – откликается горное эхо.

– И пока длится ее песня, можешь бежать, человек! – а это уже мне. Каждое слово отдается в ушах и по всему телу ударами кузнечного молота. – Но прозвучит последнее слово, и я спущу гончих. Хочешь ли ты по-прежнему купить ее жизнь?

– Да. Сделка заключена.

На губах соленый вкус и липкая влага. Похоже, кровь но-

сом пошла. Я даже не знаю имени убийцы. Откуда она? И какие там поют песни? Долго ли она сможет терпеть дикую мощь, льющуюся из его глаз? И захочет ли...

– Да будет так! – роняет он тяжело. – Пой, женщина!

– Стой! – кричу я.

Рву застежку плаща, скидывая мокрую кожу на пол. Плывать на дождь, если лишний фунт веса может меня убить. Прямо через голову тяну кольчужную рубаху. Безмолвие. Вязкая тишина, хоть ножом режь. Давит, лезет в уши.

– Не выходи из круга! – напоминаю своей должнице. Обреченно выдыхаю: – Пой...

И тихий, медленно крепнувший грудной голос начинает:

Мне слышать как-то довелось,
Биннори, о Биннори,
К двум девам-сестрам прибыл гость
У чудных мельниц Биннори.

Разрываю границу круга. Выскакиваю мимо огромной фигуры в ночь, ледяную круговерть клыков, когтей, бьющих по воздуху копыт и горящих глаз. Замираю на крыльце. Впереди – клубятся вихри, секут небо ветви молний, глухо порывает далекий гром. Вся поляна залита густой клубящейся мглой. Но вспышка – и глаз выхватывает черные лоснящиеся шкуры, серебристые гривы, бледные огни копыт. Всадники – черные силуэты, чернее самой ночи, лишь светятся мертвым блеском глаза под капюшонами. Позади – гаснет

светляк. И теплый женский голос медленно и четко выводит каждое слово:

Со старшей обручился он,
Биннори, о Биннори,
Но после младшей был пленен
У славных мельниц Биннори.

Я знаю эту балладу. Губы мгновенно леденеют, когда прыгаю прямо с крыльца в седло храпящего и прижимающего уши Уголька. Не понес бы... Поляну пересечь – легко. Но до дороги – миля лесной тропы, темной, скользкой... Балладу о Биннори пела моя мать. У нее был красивый голос, даже лучше, чем у вдовы Бринара. Только пела она редко. Но сейчас у меня в ушах звучит, отсчитывая время:

В обиде старшая сестра,
Биннори, о Биннори,
В ней ревность, точно нож, остра
У чудных мельниц Биннори.

Вдали от беснующейся Охоты конь идет лучше. Дрожит, фыркает, запрокидывает голову и нервно закусывает удила, но идет ровно. Молодец, хороший мальчик... У меня всего несколько минут. Сумку с тяжелыми стеклянными колбами – прочь. Другую, с овсом, – тоже. Мгновение поколебавшись, роняю в кусты у дороги меч. Быстрее! Только не спо-

ткнись, дружок. Только не споткнись... Коня не нужно по-
нукать. Он и сам чует, что надо убратъся подальше. И остыть
успел. А меня уже пробирает озноб. Наклоняюсь пониже,
чтобы не зацепиться за случайную ветку. Сверху, с листвы,
капает вода, и тонкой шерстяной куртке недолго оставаться
сухой.

«Там приплыли отца ладьи,
Биннори, о Биннори,
Пойдем, сестрица, поглядим,
Они уже на Биннори!»

И вот пошли – в руке рука,
Биннори, о Биннори,
Смотреть на лодки с бережка,
На воды быстрой Биннори.

Медленно. Как же медленно! Стискиваю зубы. Холод.
Страх. Не жалуйся, Грель. И коли сам сварил пиво – сам его
и пей, как говорил отец. Правда, тогда я был не некроман-
том Грелем, отродьем Тьмы, а сыном благородного рыцаря,
наследником замка и земель.

Миль десять отсюда – развалины моего замка. Пятнадцать
поколений Энидвейтов хранили Воронье Гнездо, а оно бе-
регло их. Я – шестнадцатый, не вступивший в права. А сем-
надцатого уже не будет. Впереди, между деревьями, просвет.
Уголек ржет, тянет шею. Темнота давит на плечи, дождь ле-

зет ледяными пальцами под куртку и рубашку. Ненавижу холод. За спиной тихо. Значит, она еще поет. Почему не выбрала балладу покороче? Неужели не догадалась? Или испугалась, что тогда Охота вернется за ней? Конь спотыкается, но выравнивает шаг...

И старшая, про честь забыв,
Биннори, о Биннори,
Сестру столкнула под обрыв
В стремительную Биннори.

Маленьким я любил сидеть у ног матери, пока она шила шелком очередную икону для монастыря, и слушать негромкий голос. Когда она пела, как младшая сестра умоляет старшую о пощаде, а та зло и надменно торжествует, слезы начинали течь сами собой. Заметив, мать переставала петь, обнимала меня, прижимая к мягкому надушенному платью, перебирала жесткие, лохматящиеся, как ни стриги, волосы и начинала что-нибудь другое, веселое. Но я быстро научился не плакать. Мне хотелось, чтобы песня прозвучала до конца и убийца получила по заслугам.

А потом она стала петь все реже и реже. Жизнь в глуши тяготила дочь графа, против воли родителей вышедшую замуж за лихого, но бедного рыцаря. Когда одна за другой родились мои сестры – песни и вовсе прекратились. Разве что колыбельные звучали иногда, и я, уже выросший, ловил эти редкие минуты украдкой, стыдясь болезненной нежности к

ее холодным рукам, бледной коже с просвечивающими синевой жилками, грустному взгляду. Теплый грудной голос тускнел, как гобелен, вытканый из дешевых ниток и висящий на ярком солнце. Зато все ярче вечерами цвели розовые пятна на прозрачной коже щек. А рядом с шитьем всегда лежал платок, в который она, кашляя, прятала губы...

Хватит! Не хочу вспоминать. Может, потом, добравшись до дома, открыв бутылку вина покрепче... А песня уже должна подходить к концу. Тело девушки прибило к берегу, бродячий певец срезал прядь золотых волос на струны для своей арфы и пошел во дворец...

Лес заканчивается! Ветер немедленно бросает мне в лицо пригоршни дождя, рвет с плеч куртку. Сколько до переправы? Миль пять. По мосту ближе, но мне к мосту нельзя. Мост – дорога для фэйри. А вот текущую воду Охота может пересечь, только пока не спустится на землю. Сияющие во тьме копыта уже, верно, истоптали всю поляну у часовни. Им придется объезжать по мосту. А мне – нет. И до брода всего мили две...

Прости, Уголек! Еще ниже, как только могу, прижавшись к теплой конской шее, даю коню шпоры. Зло и обиженно всхрапнув, он летит по пустой дороге. Стук копыт и моего сердца несутся наперегонки.

Девичьим голосом струна,
Биннори, о Биннори,

Поет, как умерла она
У чудных мельниц Биннори.

«Вот мой отец и мать моя,
Биннори, о Биннори,
Так пусть услышит вся семья,
Кто сбросил меня в Биннори!»

О да, я быстро понял, что, как бы ни справедлив был конец, жизнь девушке это не вернет. Ничто не вернет жизнь тому, кто ее потерял. Так какого же Проклятого ты так рискуешь, Грель? Пять лет держаться от этого места подальше! Отказаться от мести. Забыть свое имя. Какой ты Энидвейт? Грель Ворон, Грель Кочерга... Вороны кружат над развалинами твоего замка, ветер свистит под его крышей. И никто не придет во дворец короля, чтобы спеть правду о твоей семье и о тебе. Да и кому теперь нужна правда? Она никого не вернет. А в ушах у меня вместо голоса матери звучит теперь голос незнакомки из часовни. Быстрее, Уголек! Чуть приподнявшись на стремянах, я пронзительно и длинно вою по-волчьи. Конь шалее. Вытянув шею, он несется по дороге, словно одно из чудищ Дикой Охоты...

А вот сестра – родная кровь,
Биннори, о Биннори...

Далекий вой рога приходит с острыми колючками страха,

мгновенно пронзающими тело. Она все-таки допела!

«Что, не ждала услышать вновь
Ту, что топила в Биннори?»

Допела до самого конца! По спине ледяными каплями то ли пот, то ли дождь. Я всего раз до этого видел, как мчит-ся в ночной мгле Дикая Охота и земля искрится под лапами гончих и копытами лошадей. До переправы еще пара миль, не меньше. Зато за рекой – монастырь! В другое время я бы туда не сунулся, но сейчас не до выбора. Из-за церковных стен меня даже Охотник не достанет. Конечно, мерзко и ломать потом будет не на шутку, но до рассвета как-нибудь вытерплю. У камина в главном зале Вороньего Гнезда не только пели баллады. Там еще и рассказывали древние легенды. У Дикой Охоты всего одна ночь, чтобы загнать жертву.

Вой! Приближается так быстро, что даже не верится. Я не чувствую холода, только пальцы свело судорогой на поводьях. Мелькает огромный дуб с раздвоенной макушкой. Мил-ля!

– Давай же, Уголек! Давай... давай... давай, – шепчу почти в бреду. – Еще немного!

Развилка. Влево – к броду. Вправо – к Вороньему Гнезду. До него меньше мили... Нет, только не туда. Уж лучше в монастырь! Конь дышит натужно и хрипло. У меня и самого уже болят легкие от студеного ветра. Ничего, не подохну. У

Керена в учениках приходилось и хуже. Он хорошо знал, как я не люблю холод. Чередой ледяных волн вместе со звуком Рога накатывают боль и ужас. Стиснув зубы, я едва держусь в седле, изо всех сил пытаюсь не свалиться. Что с этой женщиной? Охота ушла за мной. Теперь в часовне безопасно. Но что будет завтра? Не столкнуться бы с ней в монастыре, если задержат там дольше, чем до рассвета. Кровь, только капавшая из носа в часовне, льет тонкой струйкой, пачкает липким лицо, шею, метит для гончих мой след. Рог ревет и стонет уже совсем близко.

Подлетаю к спуску. Миг – и конь встает свечкой, дико ржа и запрокидывая голову. Бросив повод, я обнимаю горячую, резко пахнущую конскую шею, молюсь неизвестно кому, чтобы жеребец не опрокинулся назад и не поскользнулся на крутом склоне! Если бы не луна, выглянувшая из-за тучи! Еще миг – Уголек пятится назад, от мокрого глинистого склона на твердую дорогу. Третий миг – я вспоминаю, как дышать. Обрыв. Во имя Проклятого и его Бездны! Обрыв! То ли от дождей оползень, то ли землетрясение... Огромный кусок берега съехал вниз, отсекая спуск, и до реки добраться невозможно.

Ну, вот и все, Грель. Судорожный смешок оборачивается всхлипом. Поиграл в мстителя? Не будет тебе арфы и говорящих струн. И легенд тоже не будет. Только смрадное дыхание гончих за спиной. Только острые зубы и твердые копыта. Да кремневый нож Охотника, вырезающий сердце. Конечно,

если оно останется там, когда до тебя доберутся призрачные собаки...

Прекрати! Я прокусываю губу, добавляя еще одну струйку крови. Зато боль моментально приводит в себя. Не смей распускаться, некромант! Уголек возмущенно ржет, разворачиваясь в обратную сторону. Вернуться по дороге – никак не успеть. И я гоню коня по лугу, срезая путь, выворачивая к Вороньему Гнезду. О, я внимательно слушал сказки у камина. А Дикая Охота носится по небу и земле с незапамятных времен. Вой слышится уже почти за спиной. Стоит Угольку попасть копытом в сусличью нору, споткнуться о выбоину – и смерть. Стоило оно того, Грель? Да Бринар в могиле и впрямь перевернется – от хохота! В спину дует ледяной вихрь. Я уже различаю лай, непрерывный, монотонный, словно не живые звери там, позади, а порождения искусного механика. Рука сама тянется к ножу на поясе. Если что – чиркну по артерии. Обойдутся без радости рвать еще живую плоть.

Луг сменяется подъемом на холм. Загнанный Уголек хрипит, отдавая последние силы, а в затылок уже несется лавина воя, визга, рева рогов. Ворота! Длинный, вымощенный камнем двор! Угрюмо нависает над приземистым строением единственная башня – Воронье Гнездо Энидвейтов. И я скачиваюсь кубарем с коня, едва успев выдернуть ноги из стремян, прыгаю на крыльцо главного входа. Оборачиваюсь лицом к налетающему месиву оскаленных морд, черных пла-

щей, огня и клубов тумана и изо всех сил, срывая остатки голоса, ору:

– Я зову тебя в гости, Охотник! Во имя Самайна я приглашаю тебя гостем в мой дом!



Глава 3
Долгая ночь Самайна.
Перед рассветом



Тишина рушится на двор, как топор палача, — мгновенно, беспощадно, милосердно. Такое безмолвие бывает в самом центре страшной бури. Но это лишь на миг, а потом я глохну от гнева в голосе Охотника:

— Как. Ты. Посмел. Насмехаться. Надо мной!

Он не кричит, и это куда страшнее. Роняет слова, как капли расплавленного свинца, и камни под его сапогами дрожат и трескаются. Тихий хруст, словно Охотник идет по льду, широкие шаги... Его взгляд сбил бы меня с ног, но сзади чудом сохранившаяся дубовая дверь, и я прижимаюсь к ней спиной. Дверь моего дома, от которого я отказался много лет назад.

— Смертное ничтожество! Добыча для моих псов!

Это он мне?левой ладонью сжимаю выступ гранитного косяка, чтобы не упасть, но правая сама ложится на рукоять ножа. Глупо и бесполезно. Я ничего не смогу сделать с воплощенной стихией. Но откуда-то из глубин души поднимается волна раскаленной тяжелой ярости, выжигая по пути страх и слабость. Она подхватывает меня восхитительным безумием, взмывает вверх, и я становлюсь каменной башней замка, вороном в ночной мгле, травой у ворот, скалой в глубине земли, на которой покоится основание Вороньего Гнезда. И при этом стою, шатаюсь, на крыльце, глядя в лицо приближающейся смерти. Это я ничтожество? Ну уж нет... Ярость смывает остатки рассудка. Ярость говорит за меня, и губы в запекшейся крови сами выталкивают слова:

– Не тебе оскорблять меня на земле моих предков, Охотник! И не я посмеюсь над обычаем, если ты, его хранитель, убьешь того, кто пригласил тебя гостем в ночь Самайна. Мой дом пуст, вороны кружат над ним. Где был твой закон, когда слуги нового бога лили здесь кровь? В этом доме никогда и никому не отказывали в гостеприимстве. Днем и ночью его дверь была открыта для гостей. И где теперь его хозяева? Почему никто не пришел им на помощь в час беды? Где был твой закон, когда той женщине пришлось убить тварь в человеческом обличье, защищая своих детей? Да, я пригласил тебя, спасая свою жизнь. Но я не твоя добыча! Я не проливал кровь родни. Я не предавал. Я не нарушал клятв. Перед тобой и древними богами я чист. А где были боги, когда я молил о помощи или достойной смерти? Хочешь убить – убивай! Но не смей звать меня ничтожеством! Пятнадцать поколений Энидвейтов лежат в этой земле, и даже тебе я не позволю марать их честь!

Вот теперь и правда – все. Я хочу только одного: не упасть раньше, чем он нанесет удар. Ноги дрожат. Спустя мгновение я понимаю, что это дрожит сама земля. Тихий гул пронизывает меня насквозь густой мощной дрожью, а сердце замедляет бешеный стук и бьется ровно, гулко, отзываясь голосу земли. Это не магия. Или не та магия, что я знаю. Просто Воронье Гнездо откликается мне, последнему из рода, не вступившему в права. И лишь теперь, за мгновение до смерти... Забавно. Двенадцать лет я отрекался от того, кто

я есть. И понадобилась Дикая Охота, чтобы привести меня к этим дверям и принудить принять наследство. Но теперь я странно счастлив и спокоен. Я смотрю в болотные огни глаз Охотника и безмолвно благодарю его. Страх так и не возвращается. Зато усталость и холод наваливаются неподъемной тяжестью. Да что же он медлит?!

Долгая, долгая ночь. Тишина в сердце бури. Холодная древняя земля под ногами. Ни камни двора, ни высокое крыльцо не могут отсечь нас обоих от этой древней земли. И мы стоим, глядя в глаза друг другу, пока что-то не меняется. И падают остывающей лавой слова Охотника:

– Да будет так. Я принимаю твое приглашение, Энидвейт из рода Энидвейтов. Благословение на этот дом и его хозяина в ночь Самайна и за ее пределами.

Камень косяка леденеет под сведенными пальцами. Что, вот так? Я выиграл? Сумасшедшей дерзостью? Мгновением без страха? Неважно. Это лишь отсрочка. Я только что пригласил в дом одного из древних богов. И стоит хоть в самой малости повести себя неправильно – мне Дикая Охота милостью покажется... Ощущение причастности к замку уходит, как вода в песок. И я остаюсь один на один со своей слабостью и тем, что натворил только что. Но делать нечего. Сварил пиво – пей. Да, отец, я помню...

– Будь гостем, Охотник, – повторяю я охрипшим голосом. – Войди в мой дом.

Повернувшись, толкаю тяжеленную дверь, ожидая, что

ржавые петли насмерть заклинило, но они поддаются легко и сразу. Деревянные брусья пола качаются под ногами и скрипят. В широком коридоре перед главным залом пахнет гнилью и сыростью. Подвесив светляка под потолок, вижу остатки поломанной мебели, обломки досок, щепки. Это кстати. Дрова мне пригодятся. Зацепив охапку деревяшек, плечом открываю дверь. Сзади обычные шаги. Тяжелые, но доски пола не ломаются, как я ожидал.

Внутри холодно, темно и пусто. Лестница на верхний этаж почти завалилась, да и нечего мне там делать. На противоположной стороне – огромный камин, где можно зажарить теленка. Из мебели остался только длинный дубовый стол на дубовых чурбаках вместо ножек да чудом уцелела пара скамей. Наверное, просто в дверь не пролезли. Отец рассказывал, что эти скамьи и стол сделали еще при его деде прямо здесь, в зале. Вешаю светляк над столом и, обернувшись к гигантской фигуре в дверях, предлагаю:

– Присядь к столу, Великий. Позволь, я разведу огонь. Здесь давно не живут люди.

Он молча проходит, опускается на широкую доску скамьи. Потревоженные летучие мыши очумело носятся по залу, едва не цепляясь за верхушки его рогов. Дивное зрелище, если подумать: забытый бог в покинутом замке. Больше двух веков ему не молятся здесь. Но отказавшись по принуждению от старой веры, эта земля так и не приняла новую. Зависла между прошлым и будущим, как летучие мыши между зве-

рьем и птицами. Свалив дрова возле камина, я складываю в его устье щепки, клочки сухого мха и листья, принесенные ветром через провалы окон. Снаружи в них смотрит ночное небо с крупными, по-зимнему ясными звездами. Значит, будет холодно. И чем разводить огонь? Если по правилам, то магию использовать нельзя. Раньше в эту ночь гасили все огни и зажигали новые, чистые от трения дерева. А я даже огниво и трут давно не ношу. Что ж, мой дом – мои правила.

Поджигаю сушняк маленьким огненным шариком, подкладываю дрова. Огонь пожирает их жадно, освещая часть зала, бросает золотые отблески на темное, будто вырезанное из камня, лицо Охотника – его глаза в отсветах пламени по-волчьи горят янтарно-желтым. Хочется сесть к камину и не отходить от него до утра: замерз я так, что все тело ломит, а пальцы почти ничего не чувствуют. Но, вспомнив, я возвращаюсь через весь зал и коридор, выхожу на крыльцо. Там к стене жметса взмыленный Уголек, бешено косящий глаза на жеребцов Дикой Охоты. Всадники застыли в седлах безмолвно, и псы смирно лежат посреди двора. Но лошади время от времени по-звериному скалятся на моего коня. Ближняя как раз открывает пасть: зубы у нее совсем не лошадиные – острые клыки сделают честь любому волку.

Я подхватываю повод и завожу похрапывающего Уголька в коридор. Конь мокрый, а здесь хотя бы нет ветра. Расседлав и торопливо обтерев его попоной, вешаю Уголька на шею торбу с остатками овса и достаю из седельной сумки припа-

сы, взятые в недоброй памяти трактире. Хотя почему недоброй? Сидел бы там, не влип бы во все это, верно, Грель? Не могу думать о себе как об Энидвейте. Отвык...

В зале ничуть не теплее, но как-то уютней. Наскоро стерев пыль взятым в дорогу полотенцем, выкладываю лепешки и курицу на стол, срезаю кожаную, залитую сургучом пробку с вина. Стаканов нет. Ни тарелок, ни солонки, ни таза для омовения рук...

– Прости, – говорю негромко сидящему напротив. – Когда-то здесь принимали гостей куда радушнее.

– Не в богатстве радушие, – звучит с другой стороны стола. – Как твое имя, человек из рода Энидвейтов?

Я кромсаю курицу и уже хочу сделать то же с лепешками, но вовремя вспоминаю: «Нож – для мяса, для хлеба – руки». Ломаю большой румяный хлебец пополам и кладу половинку перед Охотником.

Он, конечно, сейчас мой гость. Но никто никогда не говорил, что назвать собственное имя одному из Древних – здравая мысль. Да и что называть? От родового имени я действительно отказался. Имя Грель дал мне Керен. Даже не знаю, почему я не придумал себе другое прозвище. Под пристальным нечеловеческим взглядом откусываю от своей половины лепешки.

– У меня больше нет имени, данного при рождении. Зови меня Вороном.

– Можно отказаться от имени, но от крови и судьбы не

откажешься. Тебя хорошо учили, человек. Ты осторожен и учтив.

Он медленно берет свою долю лепешки и подносит ко рту. Не ест – вкушает. Откусывая понемногу, тщательно жует, глотает и снова откусывает. Мне становится немного спокойнее. По крайней мере, мы преломили хлеб. Значит, он в самом деле признает себя гостем. Хотя не думаю, что существо вроде Охотника способно на лукавство.

– Разве не назвал ты себя Энидвейтом, Ворон?

Первый подводный камень? Может быть.

– Люди всегда звали мой род Воронами, – спокойно сообщаю я. – Этот замок зовется Воронье Гнездо. Сам видишь, я мало похож на местных жителей.

Опаска опаской, а есть хочется. Впиваюсь зубами в сочное копченое мясо. Вот еще бы запить...

– Это так, – гулко соглашается он. – Мой народ светловолос и светлоглаз, а ты как головешка, вытащенная из костра, Ворон Энидвейт.

Каждый раз, когда он произносит мое родовое имя, – как удар хлыста. Не думаю, что он не видит этого.

– Мои предки давным-давно приплыли на эти земли, – парирую я. – Теперь никто не вправе назвать нас чужаками.

– Бывают люди, которые остаются чужаками везде. Что ты ищешь, Ворон?

– Стаканы, – честно признаюсь я, обшаривая взглядом все вокруг. – Или хоть что-нибудь для вина. Плохой из меня хо-

заяин, если не смогу угостить гостя. Да и сам выпил бы.

Удивительно, но из полумрака до меня доносится смешок. А потом на стол, тихонько стукнув, опускается маленькая, вырезанная из дерева чаша. Похоже, не просто из дерева, а из куска толстого корня. На стенках и ножке – наплывы. Древности она невероятной, и у меня холодеет внутри.

– Можем выпить из моей, если отважишься.

Пить из одной чаши с богом? Почему бы и нет? Я устал бояться, хмельное безрассудство отчаяния гуляет по крови. Осторожно наполняю чашу вином, подношу к губам и делаю, по обычаю, один глоток. Ставлю на стол. Огромная корявая кисть, сама напоминающая древесную корягу, обхватывает ножку. Охотник выпивает до дна и ставит посудину на стол. А я чувствую, как по жилам катится огонь. В глазах темнеет, в висках звонко стучат молоточки. Сквозь их перезвон я слышу, как льется вино.

– Выпей еще, человек, станет легче.

В голосе Охотника насмешка. Еще? Какая глупость. И первый-то глоток хорошо бы пережить. Но я упрямо тяну к губам теплое шершавое дерево, щедро глотаю. И правда, становится легче. Только тело колют сотни маленьких иголочек, больно, но терпимо.

– Что ты попросил у той женщины, Ворон? – накатывает тяжелый гул прибоя.

«Что ты попросил? Что?» – шумит голый осенний лес.

Сказать? Мгновение колеблюсь, потом решаю ответить.

– Месть. Я попросил у нее мести тому, кто уже умер.

– Разве можно отомстить мертвому?

Усмехаюсь, не выпуская из рук чаши. В голове шумит, но мысли не путаются.

– Я некромант. Маг, чье ремесло – смерть. Много чего можно сделать с мертвыми, если знать – как.

Он хмурится. Я не вижу, но чувствую по голосу, а в зале словно веет ледяным ветром.

– Ты черпаешь силу у нового бога. Отрицая его, прибегаешь к его противнику. Отравленный источник, тьма и разрушение...

– Старые боги ушли. Где мне брать силу, Великий? Сидхе заперлись в своих холмах, бродячие фэйри стали не Добрыми Соседями, а чудовищами, Колесо Года крутится по новым законам. Где брать силу таким, как я?

Он не отвечает. Я ставлю чашу между нами. Огонь в камине трещит. Встав, подбрасываю остатки досок. Не задавай вопросов, на которые нет ответа, Грель. В доме повешенного не говорят о веревке. А ты вздумал хвалиться одному из древних повелителей смерти своей силой. Но больше у меня никогда не будет возможности спросить. Вернувшись к столу, я доливаю в чашу вина.

– Почему вы ушли, Охотник? Почему бросили свой народ? Почему отдали его пришельцам?

Пальцы, лежащие на краю стола, сжимаются – я слышу треск дубовой доски.

– Что знаешь о наших путях, человек!

Молния рассекает небо на темные осколки, и сразу обрушивается раскат грома.

– Ничего, – ровно подтверждаю я. – Потому и спрашиваю. Если ты не сможешь ответить, тогда кто? Родись я лет триста назад, мог бы стать твоим жрецом. Я бы хранил закон и карал его нарушителей. А теперь на моей же земле меня травят, как волка, цепные псы нового бога.

– Ты не понимаешь, – звучит неожиданно глухо и тоскливо. – Ты, как и все люди, просто не понимаешь. Это вы отдали свою землю чужакам. Я посылал силу воинам и волю жрецам. В мою честь рождались дети и падал зверь под ножом охотников. Я кутал землю в снега и орошал ее своей кровью, чтобы трава росла гуще. Но нашим законом были сила, справедливость и возмездие. А люди выбрали милосердие и слабость. «Преступи закон – понесешь кару», – говорили мы. «Покайся – и будешь прощен», – сказал он. И ваши сердца уступили, потому что быть слабыми легче.

– Но это же ложь, – почти шепчу я. – Какое милосердие? Лицемерие, алчность, жестокость... Они пришли не для того, чтобы прощать и любить. Меч, дыба и костер – вот их милосердие.

– Колесо времени не повернуть вспять, – тяжело роняет Охотник. – Ты славно принял меня в своем доме, Ворон из рода Энидвейтов. Ты поделил со мной пищу и тепло, а в твоих словах не было ни страха, ни лжи. Какую награду ты

хочешь за это? Ночь на исходе, но у меня все еще есть сила.

– Награду? – переспрашиваю я растерянно. – О чем ты? Кто же требует платы с гостя. Это я должен благодарить за честь. Воронье Гнездо давно не принимало гостей и вряд ли примет когда-нибудь еще.

Он усмехается совсем по-человечески. Но пламя в камине не отвечает на эту усмешку всполохом. Так-то, Грель. Не забывай, с кем имеешь дело. Да, рассвет близко, но ночь еще не закончилась.

– И впрямь хорошо учили тебя. Попроси ты о награде – мог бы и пожалеть о ней. Но я предложил, а ты отказался от чистого сердца, не из страха. И это тоже славно. Не к лицу мне уступить смертному в щедрости. Теперь говори без опаски, но выбирай мудро.

Это уже всерьез. Дыхание перехватывает, мысли несутся вскачь. Свобода? Власть? Сила? Деньги и спокойная жизнь? Что он может мне дать? И может ли дать то, что мне нужно? Чаша с вином так и стоит между нами. В ней отражается тьма и дрожат крошечные огоньки, как звезды. В горле пересохло. Я беру ее в ладони и допиваю терпкое, совсем не такое, каким оно было в трактире, вино. Холодная прозрачная ясность заливает мысли, словно выпил не вино, а трезвящее зелье. Да, это не ловушка. Но подвох точно есть! Какой – не знаю. Только не зря рассказчики у камина сходились в одном: не проси ничего у Древних – не придется об этом жалеть. А коль не хочешь обидеть отказом, то есть и на это

старая хитрость.

Я ставлю пустую чашу на стол и смотрю в сияющие глаза. Он ждет, молча и неподвижно, как зверь в засаде. И время вокруг нас тоже замирает в ожидании. Я облизываю липкие от вина губы. Что толку тянуть?

– Если и вправду хочешь сделать мне подарок, Великий, то пусть наша встреча не обернется ни к добру, ни к худу. Это все, о чем прошу.

Долгий-предолгий миг он смотрит мне в глаза, а кажется, что прямо в сердце. Может, конечно, так оно и есть. Но я не опускаю взгляд, даже когда виски начинает ломить от боли, а грудь сдавливает знакомая тяжесть его мощи.

– И в третий раз я скажу: тот, кто учил тебя, делал это хорошо, – падают гири его слов. – Да будет так. Все, что было и еще будет этой ночью – от заката до рассвета, – только в твоей власти. Ни к добру, ни к худу не обернет этого судьба. Но посеяв сегодня зерно – урожай будешь собирать сам. Тот, который заслужишь. И еще скажу тебе, Ворон из Вороньего Гнезда: от судьбы не убежишь, как не скрыться смертному от моей охоты. Сегодня или через год – она все равно настигла бы тебя, как и судьба. Тебе решать: бежать или встретить ее лицом к лицу, как сегодня. Прощай.

Тяжелые шаги удаляются размеренно, неторопливо. Жалобно хрустит доска – все-таки не выдержала. Я забираю бутылку, в которой еще плещется на дне, перебираюсь к камину. Здесь тепло, даже пол немного прогрелся. Снимаю мок-

рую куртку, стягиваю прилипшую к телу рубашку, развешиваю их на вбитые между камнями крючки. Грудь жжет, в спину веет холодом. Ничего, потом повернусь к теплу спиной. Дрова полыхают яростно, словно камин чувствует, что теперь его разожгут нескоро, и торопится отдать как можно больше тепла. Всегда любил здесь сидеть. В обычные дни семья собиралась к обеду и ужину за ближним к огню концом стола. Слуги садились на другом конце, чтобы быть на виду, но не слушать хозяйские разговоры. А под столом непременно крутилось несколько охотничьих собак, ожидая костей и объедков. Что-то с ними случилось, когда люди ушли из замка?

Я сижу, прихлебывая вино из бутылки маленькими глотками, чтобы дольше хватило. Когда замерзаю, поворачиваюсь то одним боком, то другим, потом набрасываю на плечи высохшую рубашку. Воротник и рукава еще чуть влажные, но спине теплее. Я научился терпеть боль, а вот холод – до сих пор не умею.

...Керен, чьего имени я тогда не знал, требовал менять нательное белье каждый день, утром и вечером мыться и чистить зубы порошком корня айра. Мне это казалось диким, но не больше, чем все остальное. Кое-что было куда хуже. Конечно, я подчинялся, хотя ненавидел огромную ванну всей душой: мытье было частью новой, отвратительной жизни. Но я быстро понял, что сопротивляться в мелочах себе дороже. И все-таки однажды, свалившись от усталости, лег

спать, не вымывшись. Наставник лишь мягко пожурил меня, велел сменить постель. А в следующий раз выволоч из кровати и швырнул в ненавистную ванну, наполненную водой пополам с кусками льда. Еще и заклятие неподвижности наложил. Спустя вечность он вытащил меня из ледяной крошки, указал на коврик у двери своей комнаты и ушел, бросив напоследок:

– Замерзнешь – приходи. Согрею.

Потом я лежал на тонкой, не спасающей от холода каменного пола подстилке и стучал зубами. В щель полуприкрытой двери из его комнаты падал мягкий золотистый свет, оттуда тянуло теплом и запахом свежего печенья. Насквозь мокрые, едва не заledenевшие рубашка и штаны из тонкого льна облепили тело, а встать, чтобы согреться движением, оказалось совершенно невозможно: коврик соглашался отпустить меня только в одном направлении – к двери. Очень быстро я заоченел до того, что скорчился в позе зародыша, подтянув ноги к груди, спрятал ладони в подмышках и уткнулся лицом в колени, пытаюсь даже не согреться, а хоть как-то дотянуть до утра. О том, что будет, если ванна и в этот раз окажется ледяной, а не горячей, как обычно, страшно было подумать.

И все время я помнил о словах наставника. Вот это было самое трудное и мерзкое: не подняться с подстилки и не постучать в дверь, за которой так тепло. Я знал каждый дюйм его спальни: успел выучить за те полгода, что уже прошли. Высокую деревянную кровать с кучей белоснежных поду-

шек; ворох шерстяных одеял и пледов, подбитых заячьими и беличьими шкурками; круглый столик возле кровати, где по вечерам всегда стояли стеклянный кубок с подогретым вином и блюдо с пирожками, печеньем или сушеными фруктами в меду. Были там и книги, и шкафы с диковинками, и огромная карта на стене, нарисованная странно, сверху, будто художник летал как птица или смотрел птичьими глазами. Но я не мог думать ни о чем, кроме кровати и теплых мягких одеял.

Конечно, за тепло придется платить. Насмешливые холодные глаза, узкие губы, чуткие пальцы, умеющие чередовать почти невыносимую боль и совершенно невыносимое удовольствие. Он никогда не заботился о том, чтобы мне это нравилось, просто его забавляли попытки сопротивляться или оставаться равнодушным и неподвижным. И он всегда добивался своего. Я, конечно, и до него знал, что бывают мужчины с извращенными, нечистыми желаниями. Но это было лишь знание, вроде того что единорога может укротить девственница, а на луне живет человек из детской сказки. И уж точно мне бы в голову не пришло, что этим можно наслаждаться. Через боль, отвращение, мучительный, выедающий душу стыд... Но можно. Надо только расслабиться и позволить делать с собой что угодно. Сопротивление он ломал жестоко, мнимое презрение и равнодушие тоже не помогали. И я всегда сдавался, не зная, кого ненавижу больше: его или себя, палача-наильника или жертву, которая подчиняется

не только боли, но и удовольствию.

А сегодня там было так тепло. И один раз – он ведь ничего не изменит. Мой мучитель все равно будет делать что захочет, однажды можно и разрешить. Мне было так холодно, что казалось, будто кровь уже застыла и сердце вот-вот остановится. Хуже боли, хуже стыда, хуже злости на самого себя. Что с того, что я никогда не приходил к нему по своей воле. Хоть раз это помогло? Вцепившись зубами в подстилку, чтобы не кричать от судорог в сведенных мышцах, я уговаривал себя встать. Три шага до двери. Тепло. Может, даже горячее вино. И уж точно мягкая, пахнувшая лавандой постель, где замерзнуть просто невозможно. Один раз. Всего один!

Я уговаривал себя, что еще минутку – и встану. Еще чуть – и сдамся. Вдруг у него сегодня нет настроения, и я смогу просто погреться... Но каждый раз только сильнее сжимал колени, тер ими друг о друга, шипел от боли, растирая ладонями ледяное лицо, плечи, грудь. И минута растягивалась, длилась, пока не переходила в следующую, и еще...

Наверное, я плакал. Если слезы и текли, я их не чувствовал. Но то, что начал тихонько скулить, – помню точно. И сразу же перестал, понимая, что он услышит. Потом было все равно. Холод пробрался в каждую каплю крови, в каждый волосок и частицу плоти. И сколько это длилось – не знаю. Я просто лежал и ждал утра, мечтая, как вот-вот встану и постучу в дверь, за которой уже и свет погас...

Как наступило утро – не помню. То ли уснул, то ли, что

вернее, потерял сознание. Очнулся уже голым, в блаженно горячей воде. Мой безымянный мучитель стоял рядом, при-слонившись к стене спиной, нежа в длинных холеных пальцах фарфоровую чашку с травяным отваром и время от времени отпивая из нее. Убедившись, что я пришел в себя, он молча развернулся и ушел. На стуле рядом с ванной лежала чистая сухая одежда. А примерно неделю спустя наставник все так же небрежно бросил мне, что его зовут Керен. И я даже могу называть его так, если захочу. В постели. Я воспользовался этим правом почти семь лет спустя, в ночь, когда попытался его убить. И у меня почти получилось, видит Проклятый!

Но это было потом. Когда мне уже было известно, что мало кто из многочисленных учеников Керена дожил до того, чтобы узнать его имя. И то, что многие из них приходили к нему в постель по своей воле, им ничуть не помогло. А для меня ничего и не изменилось. Разве что появилось имя, которое я мог теперь вволю проклинять. Да еще ни разу за эти семь лет я не лег спать, не вымывшись...

...Бутылка совсем пуста. И рубашка высохла. От куртки идет пар, но к рассвету ее, пожалуй, можно будет надеть. Надо вернуться к часовне, забрать сумку с колбами и найти в лесу меч. Надо доехать до границы графства и поскорее убраться отсюда, пока не всплыло еще что-то из прошлого. С меня и так надолго хватит этой ночи. Небо за окном темное, но, если присмотреться, в восточное окно видна сизая

дымка. А что там Охотник говорил о том, что еще может случиться? Чувство опасности молчит. Там, в лесу, словно из-за каждого дерева смотрели ненавидящие глаза. А здесь мне спокойно, будто замок окутывает меня огромным неведомым щитом. Безопасно и тепло – даже не верится в такое счастье. Керен вот только вспомнился зря, но очень уж я замерз сегодня. Поворачиваюсь, чтобы снять подсохшую куртку, замираю, роняю пустую бутылку. Дождлся, Грель! А ты думал, легко отделаешься? Ночь еще не кончилась, помнишь?

Он стоит в нескольких шагах. Совсем не похож на обычного призрака: ни савана, ни ран. И ничего сквозь него не просвечивает. Высокий крепкий человек лет сорока, черноволосый, смуглый, черноглазый, фамильный нос с горбинкой – любой местный узнает Энидвейта. Наверное, я буду выглядеть так же, если доживу до его лет. Молчит. Призраки не могут заговорить первыми. Меня так и подмывает не открывать рта. Рассвет совсем близко. Посмотрим друг на друга да и разойдемся, а больше я сюда ни ногой.

И все-таки не выдерживаю:

– Что тебе нужно, отец? Я-то знаю, что тот договор не писался на бумаге. Тебе нечего искать в замке.

Он качает головой, смотрит умоляюще. Обняв руками колени, я сижу спиной к камину и смотрю, как катятся по знакомому лицу слезы. Говорить не хочется. Вообще ничего не хочется, кроме покоя. Я слишком устал. И нет во мне той

ненависти, что копилась годами. Ни ненависти, ни жалости. Но он все смотрит...

– Я знаю, что ты хотел как лучше. Пытался спасти маму, сестер... Отдал чародею самую высокую цену, какую мог: единственного сына, наследника. Да, Керен сказал, что ты предлагал взамен свою жизнь. Только ему ни к чему был немолодой рыцарь из захолустья. Керену приглянулся я: ученик, слуга и постельная грелка в одном лице...

Ужас и боль в его глазах – за все годы, что я проклинал свою судьбу и его, – слишком мало.

– А ты думал, для чего он меня купил? И все зря. Ты погубил нас всех. И меня тоже. Это только кажется, что я еще жив. Твой сын умер в постели Керена. Или в его лаборатории, когда первый раз убил жертву. Или потом, когда согласился жить после всего этого. Я не Энидвейт, что бы ни говорил Охотник. Я Грель Кочерга, некромант и убийца. И второй договор, с Проклятым, уже ничего не изменил. Я и так принадлежал бы ему.

Слезы. Что они теперь значат? Я плакал, когда понял, что меня предал собственный отец: отдал на милость того, кто не знает милости. Когда убивал и пытал, чтобы выжить, – тоже плакал иногда. Ночами просыпался с мокрым от слез лицом, не помня, что снилось. Потом и это прошло. Я встаю, отшвыривая ногой бутылку. Раньше отец казался мне куда выше, теперь мы одного роста. Смотрю ему в глаза.

– Почему ты ничего не говоришь? Я бы никогда не при-

шел сюда по своей воле. И я не принял замок. Мне просто нужно было убежище. Я не хочу ни твоего имени, ни твоего наследства: у меня нет прав на них.

Он снова качает головой. За окном уже заметно светлее. Еще чуть – и первый луч солнца завершит Самайн, возвещая наступление зимы. А мне хочется плакать. Только я не могу. Оказывается, даже призраки могут – только не я. Делаю шаг вперед и кричу:

– Ну скажи хоть что-нибудь! Скажи, что сожалеешь! Что не хотел, не знал, не думал! Что все это было не зря! Скажи хоть что-нибудь, если можешь!

Пальцы сами складываются в знак изгнания. Я хочу ударить его, развеять, уничтожить, не дожидаясь рассвета. А он только смотрит, и под этим взглядом моя злость тает, сменяясь просто болью.

– Ладно, – шепчу я сорванным голосом. – Что теперь поделаешь? И правда, колесо времени назад не повернуть. Ты ведь любил меня, да? Просто три жизни дороже одной. Я и сам это знаю. Жаль, что маме и девочкам это не помогло. Я прощаю, отец. Правда, прощаю. Только это уже неважно. Ни месть, ни прощение мертвецам уже не нужны, верно?

Чуть помедлив, он качает головой. Снова нет? Что ж, если он пришел, значит, и за Вратами ему не все равно. В глазах немного мутнеет. Это не слезы, просто режет от бессонной ночи. Да еще и ветром надуло.

– Обидно, что так вышло. У меня ведь не будет детей, зна-

ешь? Замок останется без хозяина. Я не говорю, что принял его, просто... Мой сын мог бы. А его не будет. Некромантия выжигает способность к зачатию. Совсем. Когда я об этом узнал, то даже обрадовался. Подумал, что не смогу повторить твою судьбу. А теперь мне жаль.

Он пытается сказать что-то. Губы шевелятся, но ни звука с них не слетает. Отчаяние искажает лицо, на которое уже ложится отблеск солнца. Я пытаюсь прочесть по губам, но ничего не выходит. Наконец вроде бы разбираю одно слово, что он повторяет много раз.

– Бринар? При чем тут он? То есть понятно при чем. Но он мертв. Рыжая чужеземка и ее сынок сделали мою работу. Да что Бринар?

Глаза отца полыхают гневом на мою недогадливость, совсем как раньше. Он все так же, одними губами, повторяет, но уже другое слово.

– Ребенок? Ребенок Бринара? Ты с ума сошел?

Его взгляд вспыхивает торжеством. И в следующее мгновение луч солнца, упав на плечо призрака, развеивает его. Я хочу поднять бутылку, но вспоминаю, что уже допил ее. Знал бы, что предстоит такая ночь, – запасся бы в трактире хоть парой...

– Нет, – говорю вслух неизвестно кому. – Только не Бринар! Отдать Воронье Гнездо этому отродью? Да ни за что! Лучше я сам спалю замок и разнесу башню по камешку. Сил хватит, не сомневайся. Но Бринар этого порога не пересту-

пит.

Замок молчит.

– Меня продали, как теленка, чтобы уберечь замок Энидвейт от Бринара! Вместе с душой, телом и даром некроманта!

Замок молчит. Я кричу в пустоту. Но чтоб мне еще раз повстречаться с Дикой Охотой в пустом поле, если в этом молчании нет чего-то, что я просто не слышу.

– И что, все было зря? – снова перехожу на шепот. – Все эти годы у Керена? И потом? Проклятье, я знаю, что нет справедливости, кроме той, что творишь сам, но это уж слишком. Мое посмертие принадлежит Тьме, чтобы Бринар не получил Энидвейт!

А потом вдруг понимаю. Перед глазами мелькают рыжие косы, и я снова слышу теплый голос с чужестранным выговором. Этой ночью было много слез. Но я бы не отказался посмотреть, какая у нее улыбка. Да уж, Грель. Размечтался. Ты теперь для нее страшнее Проклятого. И опять думаешь не о том.

– Ее ребенок, он ведь тоже Бринар, да? – говорю я вслух, чтобы не потерять нить мысли. – И если он получит Энидвейт, значит, сделка недействительна? И моя душа – опять моя?

Конечно же, никто не отвечает. Просто неуловимо меняется что-то вокруг. То ли луч хмурого зимнего солнца как-то особенно освещает мое лицо, то ли доски, наконец, ощу-

тимо теплеют, прогретые теплом камина. А может, я все это придумал. Неважно.

– А если бы я ее не спас? Я же не хотел ее спасать. Я хотел только мести... Так все это...

Запрокинув голову, я громко, от души смеюсь, пугая летучих мышей, уже устраивающихся на покой. Зато под стрехой просыпаются какие-то птицы, неуверенно перекликаясь и перелетая прямо над головой.

– Так вот о чем ты говорил, Охотник? Ни к добру, ни к худу, лишь то, что заслужил. Хороша шуточка! И что же я заслужил сегодня ночью?

Нет ответа. Как обычно. Только новый день упорно лезет в окна, напоминая, что ночь прошла и пора приниматься за дело.

– Ладно, – сообщаю я внимательно слушающей тишине. – Как говорит Охотник, да будет так! Посмотрим, что из этого выйдет. В конце концов, мне надо лишь отдать Энидвейт этому отродью, правда? А потом, когда я верну право на душу, мы посмотрим, чей это замок.

Угли в камине еле тлеют – пожара уже не будет. Можно бы и залить, но не хочется идти к колодцу, да и ворот наверняка сломан. Не ври себе, Грель, ты просто не хочешь заливать этот огонь.

Не оглядываясь, я покидаю зал, вывожу Уголька во двор. На булыжниках копать, словно кто-то жег здесь много маленьких костров. Следы от копыт, похоже. Дожить до сле-

дующего Самайна, забрать ребенка, а потом прожить еще столько, чтобы он стал совершеннолетним. Не слишком ли далеко ты загадываешь, Грель? Прошлым вечером ты не знал, где окажешься утром. И как проведешь ночь. Не тебе думать о будущем. Оказавшись за воротами, я встряхиваю поводья. Конь осторожно ступает по пригорку, скользкому от инея на сухой траве. Башня Вороньего Гнезда будет видна еще несколько миль, но я все так же не оглядываюсь. Долгая ночь Самайна закончилась, и над землей яростно полыхает новый день. Первый день безвременья между уходящим годом и еще не пришедшим.



Глава 4

На тропе между холмов



Южная окраина герцогства Альбан, Малый королевский тракт

5-й день ундецимуса, год 1218-й от Пришествия Света Истинного

Крупные редкие капли дождя мерно падали на кожаные капюшоны и накидки всадников, на давно промокшие попоны и темных от влаги лошадей. Дорога, что шла по краю леса глинистой пустошью, раскисла, только изредка в рыжем месиве подкова натывалась на камень, и замученный конь дергал мордой, словно отмахиваясь от невидимой мухи. А дождь все падал. И отсыревшая кожа плащей давно не спасала от холода, лишь тянула вниз плечи.

Всадники шли в строю по трое. Тяжелое рыцарское вооружение, глухие доспехи, броня на лошадях. Копыта глухо чавкали по вязкой глине, погружаясь в нее почти по бабки, но кони шли ровно и мерно: массивные рыцарские тяжело-возы из тех, что вес оружного всадника несут долго и надежно, не сбиваясь с шага, не замедляя мерного аллюра. В середине, прикрытый со всех сторон чужой броней, ехал невысокий щуплый человек в таком же кожаном плаще, но надетом не на доспех, а поверх теплой шерстяной котты, подбитой изнутри мехом. Ни копья, ни меча не было приторочено к удобному высокому седлу, в котором он держался то ли неуверенно, то ли просто устало, слегка покачиваясь. Время от времени он поглядывал на тускло-багровый шар солнца, садящийся впереди и немного левее дороги в темные очертания холмов, укрытых тучами, но лишь плотнее сжимал губы и опирался на высокую спинку седла, давая отдых уста-

лой спине.

Где-то среди пустоши, слева от пути отряда, крикнул коростель, ему отозвался еще один, дальше. Дорога забирала левее, от леса к холмам, и темные полосы торфяников все чаще пересекали глину. Иногда они узкими языками выползли на дорогу, и тогда копыта начинали чавкать иначе, неприятно хлюпая по пропитанной водой черной массе. Чем дальше отряд удалялся от мрачно темнеющей в сумерках громады леса, тем чаще и тревожнее поглядывал на небо человек в котте, наконец обернувшись к тому, кто ехал справа:

– Мессир Лонгуа, скоро ли ночлег?

– Часа через два после заката, брат мой, – глухо донеслось из-под капюшона, накинутого поверх круглого шлема. – На той стороне холмов есть деревня, но до нее неблизко. Придется ночевать в холмах.

– Два часа? И ночлег на сырой земле под дождем? Да поможет нам Свет Истинный...

– Истинный Свет с нами, – отозвался рыцарь. – Не тревожьтесь, брат Ансельм, мы разведем костер и поставим для вас палатку, а во вьюках есть сухие одеяла. Горячее вино и ужин согреют вас после трудного пути.

– Я не ропщу, мессир Лонгуа, – помолчав, виновато отозвался Ансельм. – Ваша забота больше, чем заслужил я, недостойный. Если бы не моя телесная немощь, мы могли бы ехать быстрее, а останавливаться реже.

– Не могли бы, – возразил рыцарь, откидывая капюшон и

оглядывая пустошь, темную полосу дороги перед ногами и редкие чахлые кустики. – Дорога трудна, и лошадям нужен отдых. Не тревожьте себя, брат. С вами мы едем не медленнее, чем ехали бы одни, а ноша ваша много тяжелее наших копий и мечей, вместе взятых.

– Это так, – просто согласился Ансельм, трогая рукой в шерстяной перчатке маленький сандаловый ларчик, привязанный у пояса – крученой веревки, обозначающей монашеский сан. – Истинный Свет избрал меня, но милость его тяжка. Не слабым человеческим рукам хранить его частицу, но я сделаю все необходимое, чтобы принести реликвию в дикий край, куда столь недавно пришла Благодать.

– Не столько пришла, сколько коснулась, – скупое усмехнулся рыцарь, поправляя сползший с плеча плащ, сколотый фибулой со стрелой в круге. – Души простых людей, живущих тут, до сих пор колеблются между божественным светом и тьмой язычества, и нечисть все еще ходит тропами здешней земли. Но хуже всего колдуны, поклоняющиеся Темному. Те, кто сознательно предал Благодать и спасение. Эти твари гораздо хуже фэйри – тем выбора не дано.

– Страшная участь, – с дрожью в голосе отозвался Ансельм, – быть обреченным на окончательную смерть души, исчезновение... Несчастные существа.

– Участь предавшихся Темному будет не лучше, брат... И потому благословенна ваша миссия во спасение душ.

– Да воссияет, – склонил голову Ансельм, осеняя себя

стрелой в круге. – Благодарю, что скрашиваете мне дорогу разговором, мессир. Скажите, а в этих местах водятся фэйри?

– Нет, здесь им делать нечего. Разве что дикие могут забрести, но нам они не страшны. Эти твари способны поохотиться на одинокого путника, а вооруженные железом люди для них смерть. Ни фэйри, ни разбойников нашему отряду бояться не стоит.

– Не думайте, что я боюсь, мессир, – сконфуженно отозвался Ансельм, слегка краснея и опуская голову. – Но его преосветлейшество архиепископ прислал за моей скромной особой такой эскорт. Полдюжины рыцарей храма и два паладина! С таким сопровождением у нас не ездит даже магистр Инквизиториума. Вот я и подумал, что здесь опасно. Знаете, у нас в Гориане за время служения в монастыре пресветлого Беорнация я всего два раза видел паладинов света.

– Значит, ваш монастырь стоит в поистине тихом и спокойном месте, – неожиданно вмешался в разговор едущий слева от монаха. – Лонгуа, нам стоит поискать место для ночлега. Ночью будет ливень, и лучше устроить лагерь заранее.

Вместо ответа Лонгуа приподнялся на стременах, оглядывая затихшую пустошь и холмы, выросшие перед путниками. Лес остался далеко позади, уже совершенно стемнело, и на тропе между холмами лежала густая тьма, скрывающая их подножие.

– Ты уверен насчет ливня, Ренье?

– С моей спиной не ошибешься. Ноет так, словно разверзнутся все хляби небесные. Ливень с ветром, Лонгуа. Настоящая буря грядет.

Тоже откинув капюшон, он подставил каплям дождя костистое лицо с редкими рыжеватыми усами и широким шрамом на правой щеке. Облизнул губы, собрав языком упавшие на них капли, склонил голову, словно прислушиваясь к чему-то.

– Он чувствует ливень? – понизив голос, спросил Ансельм, с опасением косясь на рыцаря. – Колдовским даром?

– Резаной шкурой и перебитыми костями, – хмуро откликнулся Лонгуа. – Что ж, нам стоит хоть немного проехать в глубь холмов. Там будет меньше ветра... Быстрее, мессеры!

Повинуясь команде, трое впереди, все так же не оборачиваясь, прибавили скорости. Лонгуа и Ренье, держась по бокам брата Ансельма, последовали за ними, а следом – трое замыкающих. Но между холмами дорога заметно сузилась. Вместо троих на ней сначала уместилось в ряд только двое, а потом и вовсе пришлось ехать по одному. Растянувшись, отряд продвигался вперед. Ансельм совсем сник, кутаясь под плащом в уже не спасающую от холода котту и согнув плечи. Ренье, следующий за ним, время от времени оглядывался назад, пока наконец не окликнул едущего впереди монаха Лонгуа:

– Долго еще до ровного места?

– Пара сотен шагов, – хрипло отозвался рыцарь. – Потом перед следующей ложбиной площадка – там и заночуем. А что такое?

– Так... не нравится мне тут. Темно и тихо. Как в могиле.

– Да воссияет... – дрожащим голосом отозвался Ансельм. – И рассеется мрак, оставляя души наши во Свете, и озарятся Благодатью Света Истинного...

– Помолчите, брат мой, – тихо приказал Лонгуа, останавливаясь.

Ансельм, пораженный тем, что кто-то прервал молитву, все же послушно смолк.

– Надень шлем, Лонгуа, – ясно и резко окликнул Ренье. – А впрочем, поздно...

С холма отрывисто крикнул коростель, разрывая ночь сухим треском.

– Годи, Сонтар, щиты! – рявкнул Лонгуа.

Ослепительные вспышки впереди и позади отряда рассекли ночь белыми клинками. Дико заржали кони. Ахнув, Ансельм вцепился в лук седла, едва не уронив уздечку, но оказавшийся рядом Лонгуа рванул ее из рук монаха и осадил взбрыкнувшую лошадь. Белоснежные сполохи плясали в воздухе над тропой, призрачным светом озаряя мечущихся коней. Рядом с Ансельмом упал один из рыцарей – из-под капюшона торчал арбалетный болт. Второй храмовник медленно заваливался набок, цепляясь за конскую гриву.

– Щиты!

Очередной сполох метнулся к Лонгуа и увяз в плотной полупрозрачной пелене, выросшей вдруг между тропой и холмом слева. Прикрыв глаза рукой, Ансельм слепо крутил головой. Вокруг мелькали тени, кто-то хрипел и падал, что-то щелкало, свистело, крутилось... Поскуливая от ужаса, монах нащупал гладкое дерево ларца и вцепился в него, пока соскочивший с коня Лонгуа не стащил и его, грубо вцепившись и оттолкнув в сторону от круговерти ало-белых вспышек, опускающихся сверху. Превратившись в огненных змей, они крутились и извивались, продавливали и прожигали накрывший отряд щит. Один из паладинов, захрипев, рухнул на колени, изо рта у него хлынула кровь, черная в свете сполохов.

– У них стрелы Баора, Лонгуа! Это измена! Проклятье на нечисть из холмов!

Ренье, возникнув рядом, поднял обнаженный меч в небо острием кверху. На острие зазмеились крошечные молнии, обтекая лезвие, спускаясь к рукояти.

– Забирай монаха и беги! – рыкнул Лонгуа. – Беги, Ренье!

Ансельм в ужасе замотал головой, отпрыгнул и едва не упал, поскользнувшись на мокрой глине. Замахал руками, удерживая равновесие. Ренье, перехватив меч, воткнул его острием в землю и отскочил. Треск. Вспышка. Белое сияние полосануло ночь наотмашь и собралось вокруг клинка рыцаря, замерев на пару мгновений, а потом медленно стекло по железу в землю.

– Да беги же!

Шарахнувшийся от белого огня Ансельм споткнулся обо что-то, глянул под ноги: раскинувшись в нелепой изломанной позе, там лежал один из храмовников, утыканный тремя или четырьмя арбалетными болтами. Налетев, Ренье схватил монаха в охапку, поволок от боя дальше, в сторону, в темноту.

– Молчать, – зашипел в ухо, встряхнув. – Ради Истинного, молчи...

Уткнувшись лицом в мокрый торфяник, Ансельм сжался в комок, чуть слышно поскуливая, но вряд ли кто-то мог услышать его в том ужасе, что разверзся над дорогой. Там ревело пламя, словно горел огромный костер, ржали лошади и дважды закричали люди: дико, истошно. Ренье, снова возникнув из темноты, поднял его, потащил за собой, прикрывая, но тут же захрипел и обмяк, хватаясь за живот, оседая на землю. Тонко взвизгнув, Ансельм упал на четвереньки и пополз прочь, не разбирая направления и не помня себя от ужаса. А потом сверху рухнула плотная мягкая тяжесть, вышибая сознание, туманя рассудок, – и Ансельм замер, последним сознательным движением прикрыв собой ларец.

Пробудила его боль. Тело, не способное пошевелиться, лежало скрючившись и болело невыносимо, так что в глазах плавали цветные круги. А может, это было от колдовских огней? Проморгавшись, Ансельм понял, что лежит на границе света и тьмы, лицом к темноте.

– Вот он, – прозвучал сверху незнакомый голос. – Осто-

рожнее.

– Живой, – удивился кто-то еще.

Его потянули за плечи, переворачивая. Щурясь, Ансельм глянул в лицо склонившемуся над ним человеку в легком кожаном доспехе.

– Ради Истинного...

– Не трать силы, брат, – мягко, но властно прервали его.

Ансельм дрожащими пальцами нащупал ларец. По лицу безостановочно текли слезы. Он не понимал ничего: ни кто эти люди, ни почему они перебили его спутников. Мессир Лонгуа, всегда такой учтивый и доброжелательный, мессир Ренье, паладины Годи и Сонтар, словом с ним не перемолвившиеся, но отдавшие за него жизнь, остальные рыцари... Теперь неизвестные убьют и его. Пусть, если такова его судьба. Но святыня...

– Не трогайте ларец, – попросил он дрожащим голосом. – Истинный Свет не простит вас. Кто бы вы ни были, не оскверняйте реликвию...

– Успокойся, – все так же мягко сказал ему незнакомец и, обернувшись, бросил кому-то позади. – Колдуна сюда!

Колдуна? Ансельм тихо всхлипнул. Кто это? Что они задумали? Мессир Ренье крикнул про измену. Как возможна измена в рядах церкви?

Кто-то подошел, опустился на колени рядом с ним. Беспомощный, не в силах пошевелить даже непослушными пальцами, Ансельм смотрел на человека в темной суконной

одежде и плаще, длинноволосого и с остроконечной черной бородкой. Шею человека охватывал широкий серебряный обруч, и Ансельм знал, что это. Ошейник покорности. Но если колдун в ошейнике, то эти люди ему не друзья. Окончательно запутавшись, он просто глядел, как колдун проводит ладонью над ларцом и кривится то ли от боли, то ли от отвращения.

– Не то.

– Ты уверен? – спокойно поинтересовался незнакомец.

Скривившись еще сильнее, колдун поднялся с колен, на лбу его выступили крохотные капли пота.

– Я знаю цену своей ошибки, – огрызнулся он. – Это светлый артефакт, истинный. Но не то, что вы ищете. С тем я бы рядом стоять не смог. А этот даже взять могу, хоть и ненадолго. Свет озарил это, чем бы оно ни было, но это не Его частица.

– Что ж, ты действительно знаешь цену своей ошибки, – сказал его собеседник. – Или лжи.

Он снова склонился над Ансельмом, заглядывая в лицо и положив руки ему на плечи.

– Ты знал, что везешь, монах?

– Свет, – пробормотал Ансельм. – Частицу Света Истинного. От Престола Владыки архиепископу здешних земель, ради Благодати, да воссияет Она вечно...

– Значит, не знал, – вздохнул человек. – Как жаль. Прости меня, брат. На пути к Свету да осенит тебя Благодать Его. Не

бойся, мы завершим твоё дело. То, что ты вез, принадлежит Церкви и останется в ней.

Ансельм хотел сказать что-то, попросить, вымолвить ещё хоть слово, ещё пару мгновений посмотреть на тех, кто не понимает. Просто не понимает, что он, Ансельм, везет реликвию, частицу Истинного Света, и причинить ему вред – страшный, непростительный грех. Но человек в кожаном доспехе взял его лицо в ладони и резко повернул, почти не больно и совсем не страшно. Что-то хрустнуло – громко, на весь мир, – и все погасло.

Человек в доспехе ещё несколько мгновений смотрел на убитого, потом ладонью бережно закрыл ему глаза и прошептал:

– Покойся с миром, брат. Грех мой велик и неискупаем, но на суде я отвечу тебе, что сотворенное было сделано во имя Света и именем Его. Покойся с миром, и да пребудет с тобой Благодать...

Поднявшись с колен, он оглядел тропу, озаренную несколькими факелами.

– Остальные?

– Все кончено, – отозвался один из его людей. – Да пребудут они в мире.

– Замечательный мир, – пробормотал стоящий в паре шагов колдун, вглядываясь в ночное небо. – С такими братьями и врагов не надо...

– Не тебе судить нас, тварь, – по-прежнему мягко отклик-

нулся человек.

Подняв руку, он нащупал на поясе серебряное колечко и сжал его в ладони. Захрипев, колдун схватился за горло, сясь оторвать невидимые руки, упал на колени.

– Сегодня здесь погибли те, чьего волоска ты не стоишь. Не смей пачкать поганым языком их память.

Он говорил тихо и почти нежно, все сильнее сжимая кольцо, пока колдун, хрипя и извиваясь, не рухнул на землю в судорогах, и только тогда убрал ладонь. Тяжело дыша, колдун лежал на земле, скорчившись и закрыв глаза. Отойдя, человек подошел к своему коню, уже приведенному на дорогу, снял с седла небольшую клетку, обвязанную платком, дернул ткань. В клетке сидел белый голубь с бурым кольцом перышек на шее. Человек достал из кармана два колечка, выбрал черное и закрепил на лапке голубя. Размахнувшись, подкинул птицу в воздух. Сделав круг, голубь поднялся вверх и исчез в ночном небе. Оглянувшись на приподнявшегося на локте и пытающегося отдышаться колдуна, человек нахмурился, перевел взгляд на тело Ансельма.

– Снимите ларец и упакуйте. Тела сложите рядом и укройте хоть плащами. Жером, останешься здесь и покараулишь их, пока не придут люди из деревни. Потом догонишь нас.

Один из его людей, высокий, с седыми волосами и молодым лицом, молча кивнул. Человек снова глянул на колдуна. Под его взглядом тот встал, кривясь и глядя в землю, пошел к лошади. Через несколько минут на тропе между холмами

осталось лишь девять мертвых тел и молчаливый сторож, замерший на камне под все сильнее льющим с неба дождем.



Глава 5

Игра в загадки



Восточная часть герцогства Альбан, монастырь святого Рюэллена,

резиденция Великого магистра Инквизиториума в королевстве Арморика

7-й день ундецимуса, год 1218-й от Пришествия Света Истинного

Догорающая свеча в массивном подсвечнике совсем оплыла, фитиль затрещал и покосился, а потеки воска хлынули на блестящую бронзовую чашечку держателя. Немолодой человек в темно-синем одеянии с широкой серебристой оторочкой по воротнику оторвался от чтения письма, устало откинулся на спинку высокого кресла и прикрыл глаза. Свеча продолжала трещать и коптить. Сзади, от двери в соседнюю комнату, к столу бесшумно подошел высокий юноша в серой шерстяной сутане и меховых тапочках, заменил свечу новой. Глянул на остальные, ровно и сильно горящие.

– До утренней службы еще час, – не открывая глаз, произнес человек в кресле. – Разве ты не должен в это время быть в постели, сын мой?

– Мне не спится, магистр. Не нужно ли вам чего-нибудь еще?

– Пожалуй.

Названный магистром открыл глаза, посмотрел ясно и холодно.

– Мне определенно нужно, чтобы ты поразмыслил над следующим: рвение к служению похвально, но не за счет здоровья. И тем более не за счет истины. Не спится, в самом деле?

– Простите, магистр, – прошептал юноша, заливаясь румянцем до ушей. – Вы не спали, и я подумал...

– Что я не смогу сам поменять свечу или подлить свежих чернил? Невысокого же ты мнения обо мне, Бертран. И, если ночные бдения войдут в привычку, придется ограничить тебе доступ к библиотеке. Книга должна быть радостью и ценностью, а не средством скоротать время в ожидании, пока догорит очередная свеча в моем подсвечнике.

– Простите, магистр, – повторил Бертран, опустив взгляд. – Я согрешил против истины, да простит меня Свет, и вы простите.

– Прощаю. Явишься к брату Грегорию, он назначит, сколько часов искупления за ложь ты проведешь с мечом в тренировочном зале. После этого и сон будет лучше. Ну-ну, мальчик мой, хватит краснеть, как юная дева. И, раз уж ты здесь, а до заутрени мало времени, запечатай эти письма.

– Да, магистр!

Просияв, Бертран кинулся в соседнюю комнату, спустя несколько минут вернувшись оттуда с палочкой сургуча. Присев на второе кресло сбоку от стола, он принялся старательно и бережно греть сургуч над свечой и капать вязкую темную массу на конверты. Магистр достал из-за ворота сутаны цепочку с серебряным кругляшом печати.

– Что наш гость? Ты видел его вчера? – спросил он, оттискивая клеймо на очередном конверте и подвигая его обратно Бертрану.

– Да, магистр. Мэтр Винченцо в добром здоровье и благополучии. С утра занимался с братом Грегорио фехтованием на пиках, потом посетил библиотеку и гулял в саду. А после вечерней службы писал письмо домой и попросил меня отправить его как можно быстрее.

– Хорошо, так и сделай. Ну вот, все... Можешь идти переодеваться к заутрене. Я помолюсь здесь. А после службы и завтрака пригласи мэтра Винченцо зайти ко мне.

Поклонившись, юноша вышел, прихватив ковш и огарок свечи. Магистр встал, вышел из-за стола на небольшой коврик перед камином и, сцепив пальцы, несколько раз потянулся вперед, затем заложил их за голову, пошевелил лопатками, изгоняя усталость. С усилием поднял и опустил плечи, одно из которых оказалось заметно ниже другого.

За окном гулко ударил колокол, потом еще раз и еще, отбивая время утренней службы. Поддернув сутану, магистр встал на колени, повернувшись в сторону восхода, и глубоко вздохнул. Мерный медленный бой медного колокола сменился быстрым серебристым перезвоном, словно ликующим.

– Во славу Света Истинного, воплотившегося в том, кто пришел во дни мрака и неверия, в земли опасности и нечестия...

Губы шевелились легко, и магистр привычным усилием заставил себя говорить медленнее, вслушиваясь и вдумываясь в каждое слово. Сколько лет прошло, а он все еще торо-

пится в молитве, как нерадивый послушник, что проговаривает святые слова не сердцем, а всего лишь плотью.

– Ради истины животворящей и обличающей, благочестия непритворного и восславляющего... Слово Твое возглашу вблизи и понесу вдаль, да будет оно мне щитом, и мечом, и зерном, падающим в землю благодатную. Не осудит меня проклинаящий и не соблазнит обманывающий, сердце мое – сосуд твоей истины, да сохранится она в нем без изъяна...

Тихо и ровно льющиеся слова, привычный холодок по спине. Каждый раз, каждый раз за все эти годы он ждал, что однажды холод испуга обернется карающим пламенем и сожжет его нечестивую плоть, пораженную ядом проклятого дара. Но пламени не было – и каждый раз он до слез, до иступления был благодарен за то, что не отвергнут. Свет Истинный справедлив: разве его вина в рождении под сенью проклятия? Разве он виноват, что пламя и мороз мешаются в крови, то обжигая, то холодея, стоит лишь утратить самообладание. Потому и ходит он, магистр Инквизиториума, в церковь куда реже, чем положено по сану. Избегает служб в дни, когда соблазн особенно силен, как женщина избегает мужа в дни своей нечистоты. Лик Света Истинного слишком сурово глядит с фресок и икон на порченную овцу Своего стада. Овцу, которой приходится искать и искоренять порчу в других. От Его взора сила поднимается изнутри, кипит, бурля и пытаюсь вырваться наружу.

– Свете мой, Свете Истинный, умири ее, молю тебя!

Очистиь меня, освободи от проклятия в крови. Выжги его силой Своей, если пожелаешь, заведи вместе с жизнью, если на то воля Твоя. Разве Тебе не ведомо, что никогда, ни единого мгновения не желал я этой власти? Но если это – испытание Твое, то я клянусь нести его смиренно и беспретословно, Свете мой Благодатный...

Один из монахов, проходя по дорожке мимо кельи магистра и случайно заглянув в окно, замер и попятился в смущении. По лицу магистра, сложившего ладони в молитвенном жесте, текли слезы, невидящий взгляд был устремлен вдаль, на восходящее солнце, и лучи окрашивали резкое, словно вырезанное из темной кости, лицо в цвет старого золота. Благоговейно осенив себя знаком света, монах поспешил прочь, стыдясь собственного неусердия на сегодняшней молитве. А колокола все звонили, нежно и переливчато, радуясь восходу и новому дню, призывая пробудиться не только телом, но и душой.

Спустя некоторое время, когда обитатели монастыря давно растеклись после службы кто в трапезную, кто на кухню, магистр все еще стоял на коленях, в изнеможении чувствуя, как судорога сводит затекшие мышцы, зато на душе светло и легко, будто молитва омыла ее, испачканную ежедневными и еженощными тяжелыми мыслями. Стать бы монахом не по названию, а по сути. Запереться в келье, принять обет молчания, смирения пред нижайшим из низших. Постом, слезами и непретанной молитвой очистить душу и разум от мирской

грязи, искупить все сотворенное в тяжком служении. Нельзя. Чтобы взошел росток Благодати из брошенного семени, кто-то должен удобрять поле навозом и стеречь семя от жадных птиц. И участь того, кто не жалеет души своей, – благословенна. Может быть, для этого и призвал его Свет Истинный, чтоб дать возможность обратить проклятие на службу Благодати...

В дверь постучали. Приоткрыв, смущенно кашлянули в щель. Медленно поднявшись с колен – поврежденные и плохо сросшиеся связки протестующе заныли, – магистр обернулся.

– Доброго утра, светлейший мэтр Игнаций... Простите, что помешал вашей молитве.

Жизнерадостный толстячок с хитроватым лицом удачливого купца или банкира говорил на языке их общей родины, и магистр улыбнулся, небрежным движением ладони стирая капли слез с лица. Здесь, в полудиком и непросвещенном краю, услышать родную речь – настоящее удовольствие. Редкое к тому же. Даже братья, приехавшие на служение вместе с ним, все чаще говорят между собой на местном наречии. Столько лет прошло...

– Не вам просить прощения, мой дорогой брат. Разве не я пригласил вас в это время? Садитесь, прошу вас. Вы уже позавтракали? Может, согреть для вас вина?

– О, я уже воздал должное вашим поварам, светлейший, – разулыбался Винченцо Гватескаро, посол Святого Престола,

опускаясь в кресло. — А с вином, думаю, стоит погодить хотя бы до полудня. Лучше успокойте мою тревогу: значит ли ваше приглашение, что вы получили хорошие вести?

— Вести — да, но не хорошие, дорогой брат, а совсем наоборот.

Глядя, как неумолимо подобрался и посерьезнел гость, Игнаций вздохнул, обошел стол и сел в собственное кресло.

— Увы, мои вести черны, как душа грешника. Брат Ансельм, везший нам от Престола Пастыря частицу Света Истинного, погиб в пути вместе со всем отрядом. Скорблю и сожалею, брат мой...

— Ансельм?! О Свете мой...

Посол медленно поднес к побледневшему лицу пухлые ладони, прижал к щекам и покачал головой.

— Ансельм... Воистину черные вести. Неужели все убиты?

— Все до единого, — подтвердил магистр. — Два паладина и отряд рыцарей. Да упокоятся их души в Свете.

— Воистину, — пробормотал Винченцо, отводя ладони от лица. — А что же реликвия? Неужели...

— Нет, брат мой, не бойтесь. Реликвия не осквернена. Мои люди уже везут ее в Бреваллен, чтобы передать архиепископу Арморикскому.

— Слава Свету! — выдохнул Винченцо. — Когда вы узнали обо всем, мэтр? И как?

— Вчера после вечерней службы. Узнав, что отряд епископа пройдет рядом, я послал людей, чтобы встретить их. При-

знаться, я лелеял надежду прикоснуться к Благодати реликвии...

Магистр помолчал, и Винченцо энергично закивал в ответ:

– Разумеется, мэтр, как же иначе? А дальше?

– Увы, случилось страшное, – вздохнул магистр. – В дороге на отряд архиепископа напали, используя магию. К счастью, те, кто предался тьме, не могут прикоснуться к истинной реликвии, и она осталась нетронутой.

– Благодарение Свету, – проговорил Винченцо. – Благодарение Ему за это. Но какой удар! Брат Ансельм, известный ученостью и набожностью, истинный хранитель и ревнитель благочестия. И наши братья! О, какой удар...

– Я скорблю об их смерти, – отозвался магистр. – Клянусь в том Светом Истинным и Его Благодатью.

– Надеюсь, – маленький человечек выпрямился в кресле, не выглядя ни смешным, ни жалким, – вы примете все меры к розыску преступников? Возмездие должно быть страшным и неумолимым, магистр!

– Разумеется, – спокойно подтвердил магистр. – Все, что смогу, в меру моих скромных полномочий. Я неоднократно докладывал Престолу Пастыря, что местная духовная власть не всегда оказывает мне должное содействие, увы. Возможно, опасаясь за свои привилегии...

– Местная власть... – Винченцо скривился, словно хлебнув кислоты. – Сказать по правде, архиепископ Арморик-

ский производит благоприятное впечатление и кажется человеком рассудительным и благочестивым. Но... он местный. Из народа, чье упорство во мраке язычества стало нарицательным. И слишком уж привержен мирским благам, как я заметил.

– Не мне корить прелата всяя Арморики за что-либо, – помолчав немного, ответил магистр. – Вы же понимаете. Скажу лишь, что я предлагал ему помощь в сопровождении реликвии. Увы, епископ отказался. Будь там мои люди... Все же у них куда больше опыта в противостоянии тьме.

– Какая гордыня, – покачал головой гость. – Какая губительная гордыня... Я поразмыслю над этим, магистр. Полагаю, мне удастся убедить Престол Пастыря расширить ваши полномочия. Подумать только – отказаться от помощи и погубить столько братьев, едва не утерев святыню. Ваш секретарь, этот славный мальчик Бертран, должен был отправить мое письмо. Оно уже ушло?

– Насколько мне известно, курьер еще не отправился, мэтр.

– Тогда пусть его задержат, а мне вернут послание. Я хочу переписать его. Простите, мэтр Игнаций, ваши вести и вправду черны. Позвольте мне удалиться. Хочу вознести молитву за душу брата Ансельма и его спутников.

– Да, конечно, – сочувственно отозвался магистр, поднимаясь, чтобы проводить гостя.

Дождавшись, пока толстячок выкатится из комнаты, ма-

гистр обессиленно опустил в кресло, накрыв ладонью крошечное колечко из темного металла, лежащее на столе среди писем.

*Город Бреваллен, столица Арморики, дом мессира Теодоруса Жафреза,
секретаря его светлейшества архиепископа Арморикского*

10-й день ундецимуса, год 1218-й от Пришествия Света Истинного

Солнечный зайчик весело прыгал по гладким деревянным панелям и потолку, иногда перескакивая на покрытый мягким ковром пол. Но на пестром светлый блик было плохо видно, и зайчик возвращался на стены. Иногда детская ладошка накрывала осколок зеркала, и зайчик исчезал, чтобы тут же вернуться вновь. Тогда светловолосый мальчик лет пяти, сидящий на ковре посреди небольшой комнаты, едва заметно улыбался. Небольшое окно, ведущее в соседнее помещение, он то ли не замечал, то ли просто не понимал, для чего оно.

– Сколько он может так сидеть? – спросил архиепископ Домициан, стоя у окна рядом с Теодорусом.

– Сколько угодно. Час, два, три... Если прервать игру, расплатится и не будет говорить.

– Я не могу столько ждать, – поморщился Домициан, нервно теребя широкий манжет, расшитый золотой каните-

лью. Длинное одеяние из тончайшей темно-синей шерсти облегло его фигуру, выгодно подчеркивая стройность и величественную осанку. Пожалуй, немного более выгодно, чем следовало бы священнослужителю, но кто осмелится упрекнуть в мирской слабости самого архиепископа? Не отрываясь от окошка, Домициан поправил на груди цепочку с серебряным гербом Арморики, наложенным на святую стрелу в круге, и снова заговорил:

– Неужели ничего нельзя сделать?

Теодорус пожал плечами.

– Попробую, светлейший. Но не могу обещать. Даже де-ан-ха-нан постарше не имеют понятия о необходимости, а это маленький ребенок. Идемте, но обещайте молчать, пока я буду спрашивать.

– Разумеется, – хмуро бросил епископ Арморикский, вслед за собеседником отходя от окна. Выйдя из комнаты, они прошли по коридору до следующей двери.

– Молчите же, – повторил Теодорус, проходя в комнату. Ребенок играл с зеркалом, даже не повернув головы к вошедшим. Подойдя, Теодорус опустил на ковер перед мальчиком, достал из кармана пригоршню блестящих кусочков смальты, высыпал на пол и принялся перекладывать с места на место, не обращая внимания на епископа, вставшего в нескольких шагах. Наконец мальчик, оторвавшись от игры с зеркалом, глянул на камешки. Теодорус продолжал перекладывать их...

– Дай, – сказал мальчик, протягивая руку. – Не так.

Теодорус с готовностью подвинул осколки мозаики к мальчишке. Тот, склонив голову, несколько мгновений рассматривал их, потом перемешал и разложил снова, на первый взгляд в совершенном беспорядке.

– Вот так, – сообщил он, вглядываясь в камни. – Еще есть?

– Больше нет. Зато есть загадка. Хочешь?

– Хочу, – подумав немного, сказал мальчик. – Она большая или твердая?

– Она маленькая, – сказал Теодорус. – Но твердая. Как орех.

– Люблю орехи, – отозвался мальчик, сдвигая один кусочек смальты на полпальца влево и вглядываясь в изменившуюся картину. Не удовлетворившись, он вернул его на место, повернув немного иначе.

– Тогда слушай, – слегка улыбнулся Теодорус. – Один человек спрятал орех и никому не сказал где. Никто его не может найти, потому что это особенный орех, и никто не знает, какой он. Другой человек прислал мне в подарок такой же орех, чтоб я посмотрел на него и нашел первый. А как его найти?

– Неправильные кусочки, – наклонив голову, отозвался мальчик. – Маленькие и мягкие.

– Мягкие?

– Мягкие, – подтвердил мальчик. – Это твой орех?

– Нет, не мой. Он ничей.

– Так не бывает, – сказал мальчик, двигая одни кусочки друг от друга, а другие соединяя вместе. – Это орех того, кто спрятал. Значит, все хотят его найти.

– Все – это кто? – терпеливо уточнил Теодорус.

– Все – это все. В твердом орехе горькое ядро, а ягоды мягкие и сладкие. Зато у орехов есть листики, у ягод тоже. Ты ищешь орех, а найдешь ягоду. Любишь ягоды? – протаторил мальчик.

– Люблю... А как мне найти орех?

– Это неправильная загадка, – нахмурился мальчик. – Ты ищешь орех, а надо – ягоду. Где ягода, там и орех. Орехи носят вороны. Попроси ворона и дай ему ягоду, а ворон тебе найдет орех.

– Хорошо, – сказал Теодорус, усаживаясь на ковре удобнее. – А где мне найти ворона?

– Ты разве не знаешь? – удивился мальчик, сунув палец в рот и тщательно облизывая его. Прикоснувшись мокрым пальцем к паре кусочков смальты, он оставил на них блестящие пятна. – Ворон живет на деревьях. Деревья зеленые, у них есть листики. Только сейчас осень, листиков уже нет. Теперь ворона хорошо видно, он же черный.

– Точно, он черный. А на каком дереве он сидит?

Не отвечая, мальчик перемешал мозаику и сложил ее заново, в другом порядке. Потом еще раз, и еще... Двое взрослых терпеливо наблюдали за ним: архиепископ – хмурясь, Теодорус – спокойно и расслабленно.

– Ворон черный, – повторил наконец мальчик. – Он летает, где темно. В ворона кидают камни. Много камней. Ворон любит ягоды. Найди ягоду, а ворон найдет тебя. И орех. Только смотри, где орехи, там деревья. Листиков у них нет, а колючки острые.

– Я буду осторожен, – серьезно пообещал Теодорус. – А где деревья?

– Деревья на холмах, – удивленно взглянул на него мальчик большими голубыми глазами. – На старых-старых холмах. И деревья, и трава, и цветочки. Они все ждут, пока придет осень и облетят листики. Тогда все будет хорошо видно, и хозяин ореха тоже придет его искать.

– Кто придет? – спросил невольно дрогнувшим голосом Теодорус, обернувшись и бросив предостерегающий взгляд на архиепископа у двери. – Хозяин ореха?

– Ага, – весело согласился мальчик. – Ты его ищешь, и ворон будет искать, и деревья будут. Как же ему не прийти – это ведь его орех? Вот весело будет! Все камешки перемешаются! Он перемешает камешки и сделает все не так. А ты меня обманул, это не маленькая загадка. Это очень большая загадка! У меня таких больших загадок еще не было!

Раскрасневшись, он поднял блестящие глаза от ковра, посмотрев на собеседника.

– Очень большая загадка, – повторил с удовольствием. – И как ни отгадывай, все равно выйдет неправильно. Люблю такие... Все, уходи, я спать хочу.

Отвернувшись, мальчик сгреб кусочки смальты в кулачки, крепко сжал их и улегся прямо на ковре, свернувшись клубочком и прижав руки к груди. Двое в комнате молча смотрели, как он засыпает, приоткрыв розовые губки и хмурясь во сне. Потом Теодорус тихо встал и на цыпочках попятился к двери, увлекая за собой епископа.

Выйдя в коридор, он снова замкнул дверь ключом и спрятал его в карман.

– Ну, и что значит эта бессмыслица? – с тихой, ровной злостью спросил архиепископ.

– Успокойтесь, светлейший. Неужели вы даже в детстве не играли в загадки? Все довольно ясно, если вы хоть на минутку отбросите привычный взгляд. Признаться, мне страшно от подобной ясности. Обычно наше сокровище изъясняется куда туманнее.

– Это – ясно? Орехи, вороны, ягоды...

– А еще деревья и холмы, – подхватил Теодорус. – А что вы хотели от деан-ха-нан? Они смотрят на мир иначе и видят сокровище от наших глаз. Конечно, они говорят загадками. Чем глубже проникает взор в сокровище, тем труднее им объяснить его простому человеку. Возблагодарите свет, что этот мальчик хотя бы не отказывается вообще говорить с нами. Счастье, что мы нашли его до того, как разум начал угасать.

Разговаривая, они вернулись в ту же комнату, из которой вышли до этого. Архиепископ, все так же хмурясь, застыл у жарко горящего камина, Теодорус уселся за стол, поставив

на него локти и подперев ладонью лицо.

– Орех – то, что мы ищем, – сообщил он безмятежно собеседнику. – Это-то должно быть понятно. И сами мы его найти не сможем. Но его может найти ворон.

– Великолепно, – со злой иронией отозвался Домициан. – Осталось найти ворона и ягоду, чтобы поменять одно на другое, не так ли?

– Вы начинаете понимать, – с легкой усмешкой подтвердил Теодорус. – Ворон – черный. Это ведь тоже несложно?

– Черный. Тьма? Кто-то, преданный тьме?

– Преданный тьме, но летающий на воле. Ворон, в которого постоянно летят камни. Достаточно ясно. Мы ищем человека, который чем-то связан с вороном: прозвище, место, облик... Это может быть что угодно. Когда найдем, тогда и поймем, что это за ягода, за которую он обнаружит нам орех. И берегитесь колючек деревьев со старых холмов.

Улыбаясь, Теодорус откинулся на спинку кресла.

– Старые холмы? Сидхе!

– Сидхе, конечно. Деревья, цветы и травы на холмах, которые ждут, пока облетят листья. Сидхе, которые тоже ищут наш... орех. И у них колючки. О да, светлейший, вы начинаете понимать. Сказать по правде, меня беспокоит не это. Наш маленький пророк сказал, что орех будет искать и его хозяин...

Тишина обволокла комнату мягким душным покрывалом. Двое молча смотрели друг на друга.

– Невозможно, – хрипло сказал архиепископ, отводя взгляд от собеседника. – Это – невозможно.

– Вам виднее, – усмехнулся Теодорус. – Будем надеяться, что деан-ха-нан имел в виду нечто другое и камешки известного нам мира не перемешаются окончательно, когда придет хозяин ореха. Веселое дело – узнавать будущее у деан-ха-нан, верно?

– Да уж, – пробормотал Домициан, смахивая капли пота со лба. – Но это всего лишь мальчик. Как он может знать?

– Если бы я это понимал, – пожал плечами Теодорус, вставая из-за стола, – я бы тоже мог прочесть судьбу мира в пригоршне битой смальты. Но храни нас высшие силы от подобного знания! Оно не для человеческого разума, потому деан-ха-нан и сходят с ума, как только начинают осознавать его. Ищите ворона, светлейший. И поторопитесь, листья с деревьев облетели – все решится этой осенью.

Выйдя, он тщательно прикрыл за собой дверь, оставив за спиной изваянием замершую у камина фигуру в темно-синей с золотом сутане. Наместнику Престола Пастыря определенно было о чем подумать, глядя в окно на голые ветви и низко нависшие дождевые тучи.



Глава 6

Слово твое возглашу вблизи...



Восточная часть герцогства Альбан, монастырь святого Рюэллена,

резиденция Великого магистра Инквизиториума в королевстве Арморика

10-й день ундецимуса, год 1218-й от Пришествия Света Истинного

От двух десятков перьев, почти непрерывно скользящих по пергаменту, в схоластии стоял ровный сухой шелест. Выведя несколько букв, каждое перо отрывалось от тонкой, вытертой и выскобленной едва ли не до прозрачности кожи, ныряло в чернильницу и снова возвращалось на пергамент, то проводя тонкую изящную линию или округлость буквы, то оставляя жирный след, то роняя на лист кляксу. Светлые, рыжие и темные головы склонялись над столами, чернила пачкали детские ладошки. Как ни старайся – ни за что не убережешь руки чистыми, а отец-схолярий бдительно смотрит, чтобы схолики отрывались от пергамента только макнуть перо. И деревянная указка у него в руках не для важности, а как раз для дела: ею легко дотянуться до любого плеча или спины, проходя между рядами столов.

Постояв минуту на пороге, Игнаций шагнул в теплую светлую комнату, покачал головой в ответ на вопросительный взгляд схолярия, поднес палец к губам. Тихо прошел за кафедру и сел на специально стоящий в каждой комнате схоластии стул. Наставнику, ведущему урок, стул не положен, его дело – ходить между учениками, как пастушьему псу между овцами. Но на любой урок может заглянуть кто-то из братьев или даже сам магистр – вот как сейчас, – и для

него заранее приготовлено удобное место.

А Корнелию вести занятия все труднее. В последние года два благородная осанистость перешла у него в нездоровую полноту, и на лбу блестят капельки пота, когда схолярий, как и положено, ходит по комнате. Еще немного, и придется дать ему новое послушание – в скриптории на переписке книг, например. Пусть напишет новый учебник для будущих схоликов. Давно бы уже стоило, но каждый раз, едва заходил разговор, Корнелий просил оставить его с детьми – и Игнаций не мог отказать. И то правда, что с работой в схоластики Корнелий справляется отменно: ни одна голова даже не поднялась, когда мимо них прошуршала сутана магистра. Разве что несколько быстрых осторожных взглядов... Но это все-таки дети, и совсем отказать им в любопытстве – неумное требование. Не обращая внимания на магистра, Корнелий подошел к крайнему мальчику за передним столом, взял из пальцев перо, исправил что-то на пергаменте. Молча указал коротким толстым пальцем на нужное место в книге, откуда мальчишка списывал. Два десятка учеников – и у каждого свой учебник! Вволю пергамент для занятий, лаборатории, библиотека, залы воинской науки с оружием, изготовленным специально для детских рук... Неслыханная роскошь! Но Престол Пастыря не жалеет денег на тех, кто вырастет и восславит слово истины. Это епископские школы берегут каждый грош, брошенный им, как милостыню, а Инквизиториум знает цену будущим проповедникам и па-

ладинам.

Игнаций еще раз оглядел склоненные головы. Привычно подумал, что излишняя гордость – грех, но как же не гордиться, о Свете Истинный, если эта схоластика – одна из его главных заслуг. Первых учеников было всего пятеро – но тот выпуск подарил ему Бертрана. Зато сейчас два десятка мальчиков одиннадцати-двенадцати лет второй год учатся грамоте, а в прошлом году пришло еще три дюжины. Это не дети знати, отданные для науки в епископские школы, а сироты и приютские подкидыши. Каждый – отныне и навсегда вырван из тьмы невежества. Эти мальчики до конца дней будут помнить, что здесь, в обители, они впервые в жизни наелись досыта и надели чистую теплую одежду, здесь увидели книгу и взяли в руку перо, прочитали молитву... Словно отвечая на его мысли, Корнелий подошел к кафедре и позвонил в начищенный до блеска медный колокольчик.

– Время святого слова, – возгласил он густым низким голосом. – Допишите, положите перо и откройте Книгу Конца и Начала. Торвальд, читай со слов «И привели его».

Игнаций, опершись на широкие подлокотники стула, смотрел, как заканчивают писать мальчишки – каждый по-своему. Один с облегчением бросает перо, не замечая, что поставил очередную кляксу, и суетливо отодвигает пергамент. Другой – не торопится, но и не медлит, оставляет работу, лишь дописав слово. Кто-то спешит дописать до конца всю строку, от усердия высунув кончик языка и наклонив-

шись так, что едва не касается лбом листа... Пустяк – а в нем, как в чистейшем зеркале, отражается истинный облик души и разума. И таких пустяков – бесчисленное множество. Потому и назначен схоларием опытейший и умнейший брат Корнелий, который душой болеет за каждого ягненка, вверенного его попечению. Потому и сам Игнаций заглядывает сюда постоянно, присматриваясь и прислушиваясь, помня, что звание главы Инквизиториума значит – наставник.

Торвальд, рыжий, вихрастый, несмотря на короткую монастырскую стрижку, с круглым веснушчатым, как перепелиное яйцо, лицом и вздернутым носом, потянул к себе книгу, сияя от гордости: перед самим магистром его вызвали читать первым!

– И привели Его к наместнику, и кричали, что вор Он, не хлеб и вино крадущий, но души человеческие. В колдовстве и чароплетстве обвинили Его и говорили, что тьма и смерть идут по следам Его. Наместник же преклонился ко лжи тех людей и повелел предать Его смерти. Тогда бичевали Его и распяли на колесе, дабы продлить муки, и было тех мук два дня и две ночи. Но все не умирал Он, и дивились люди тому. А одни говорили, что невинен Он и ради того смерть Его не берет, но другие кричали, что все это – темное колдовство...

– Достаточно, мальчик мой. Диран, продолжи.

Темноволосый крепыш с трудом нашел нужное место и затащил гораздо медленнее:

– И на третий день, когда взошло солнце, один из воинов,

приставленных для охраны, пожалел Его и испугался кары небесной. Пустил он стрелу, пронзив грудь нареченного Светом Истинным, и потекла кровь на колесо, окропив его. Дерево же затлело от крови этой, и люди, видевшие дым, испугались, сказав: «Не простого человека казним, но бога». А нареченный Светом взглянул на солнце, не убоявшись жара его, и улыбнулся, и сказал: «От Тебя пришел – к Тебе и возвращаюсь, ради Благодати Твоей смерть поправши». И отлетела душа Его, а тело вспыхнуло так, что стоящие рядом ослепли до конца дней своих. Сердца же огонь не тронул, и люди боялись коснуться его, но взяли кузнечные щипцы и бросили в реку, и вода забурлила и стала горячей, но вскоре остыла... Стрелу же вернули воину...

– Достаточно, Диран. Перед сном прочти три главы из «Поучения несмышленным», на твой выбор. Симон, читай дальше.

– А воин тот был схвачен и обвинен, что убил казнимого, не дав свершиться казни. И повелел наместник предать его колесованию, ибо было сказано в законе, что отпустивший преступника примет его казнь. Ночью же, когда плакал он в темнице, воссиял перед ним свет, и услышал он голос: «Что крушишься? Не о том ли, что явил милосердие телу моему и был осужден за это? Слушай! Говорю тебе, что не о том плачешь. Милосердие твое не есть добро, но зло, ибо не дал ты исполниться предначертанному. Если бы претерпел я до конца все уготованное мне, то воссиял бы мой свет так, что

истребил тьму во всем мире – и не было бы ни смерти, ни греха в нем...»

– Достаточно. Брэндон...

– «Нынче же ушел я, не завершив дела своего и оставив поверивших мне, как нерадивый пастух оставляет овец своих. И нет мне пути назад, в обитель тьмы, грехов и скорбей. Об этом плачь, говорю тебе!» И возрыдал тот воин, и бил себя в грудь, вопрошая, как ему искупить вину свою. Свет же ответил: «Что тобой сделано, тобой и исправлено должно быть. Изгнав меня, пойдешь моим путем. Возложишь на себя ношу мою и возьмешь посох мой. Пастырем стада моего отныне нарекаю тебя, и не будет у тебя имени, кроме этого, ибо имя твое умерло сегодня вместо тебя. Встань, говорю тебе. Открой дверь, иди, и будет путь твой долог. Слово мое возгласишь вблизи и понесешь вдаль, и будет оно тебе щитом, и мечом, и зерном, падающим в землю благодатную. Не осудит тебя проклинающий и не соблазнит обманывающий, сердце твое – сосуд для моей истины, да сохранится она в нем без изъяна... И принявший слово мое как истину да станет тебе братом и кровью от крови твоей».

– Кириан, продолжай...

– «Когда же исполнишь предначертанное мне, то свершится по сказанному: снова твоя стрела пронзит сердце мое – и откроются врата, и вернусь я во плоти. Но до того времени тебе хранить мою паству». И исполнилось по речам его. Встал воин и увидел, что исцелены раны на теле его, а дверь

открыта. И вышел он, и пошел нести слово, данное ему, а люди удивлялись и говорили, что вот умер один, но явился другой на место его. И как огонь зажигается от огня, не умаляя его, но разгораясь и светя собственным светом, так слово его стало частью слова истинного. И назвали его Пастырем, забыв прежнее имя его...

– Во имя Благодати, – уронил Игнаций, прерывая чтение. – Благодарю, брат Корнелий. Довольно на сегодня.

– Благословите, отец, – склонил голову Корнелий.

– Благословите, отец... – раздался нестройный хор голосов, почуявших скорое освобождение.

– Да озарит вас Свет Истинный, дети мои. Ступайте с Благодатью.

Игнаций улыbnулся, глядя, как мгновенно превратившиеся в шумную толпу схолики торопливо собирают полупросохшие листы пергамента. Писчий материал дорог. В монастырских мастерских с листов особым составом смоят нестойкие чернила, высушат, выскребут и выгладят пергамент шлифовальным камнем – и вернут в схоластию. Все громче переговариваясь, мальчишки прибрали за собой, составили на полку книги и чернильницы и, с трудом сдерживаясь, вышли в коридор, откуда донесся топот убегающих ног.

– Балуеть ты их, брат Игнаций, – спрятал усмешку в уголки губ Корнелий, подходя к кафедре и тяжело отдуваясь на ходу. – Им бы еще до вечерней службы учиться сегодня. Или

разговор такой уж важный?

– Иной раз не грех и побаловать, – вернул улыбку Игнаций, поднимаясь со стула. – Хорошие мальчики. Есть время для учебы, должно быть и время для игр, Корнелий. Себя вспомни в их возрасте.

– Я в их возрасте раздувал мехи у отца в кузнице, – хмыкнул Корнелий, – а книгу видел только в храме, на службе. Но мальчики хорошие, ты прав. И те, что помладше, не хуже. Жаль, что не увижу, какими они вырастут.

– Корнелий...

– Не надо.

Брат-схоластий тяжело опустился на стул, с которого встал магистр, на несколько мгновений прикрыл усталые глаза и снова взглянул на собеседника.

– Я не ребенок, Игнаций, и знаю, что мое время истекло. А в скрипторий не пойду. Там-то уж точно совсем зачахну, если от живых детей к мертвым книгам.

– Давно ли книги для тебя стали мертвыми, Корнелий? – грустно улыбнулся Игнаций, глядя в ближайшее окно: высокое, забранное пластинками самого чистого стекла, какое удалось заказать, чтоб в схоластии хватало света даже зимними днями. За стеклом показалась мальчишечья рожица, которая тут же спряталась.

– Уел, – хмыкнул монах. – А все одно в скрипторий не пойду. Вон, Бертран твой пусть идет. Мальчишка умный, книги любит, как наемник девок – со всем пылом-жаром. И

будет у тебя на будущее ученый секретарь-переписчик – чем плохо?

– Может, домой поедешь, Корнелий? – помолчав, сказал Игнаций. – Говорят, родная земля лечит.

– Может, и так. Только не привык я от смерти бегать. Не стану напоследок смешить старушку с косой. Ты лучше скажи, с чем пожаловал? Как там мой запрос на схолярия, знающего древние языки?

– Исполнен, – снова повернулся к монаху Игнаций. – Брат-книжник Санс из монастыря святого Леоранта едет к тебе в помощь. Его настоятель писал, что Санс доброго и тихого нрава. Не съедят его твои ягнятки?

– А посмотрим, – все же расплывшись в улыбке, откликнулся Корнелий. – Вот приедет, станет мне полегче... Ты мне еще паладина обещал, Игнаций, настоящего. Чтоб мальчишки посмотрели да прониклись.

– А что, фальшивые бывают? – усмехнулся магистр. – Будет тебе и паладин. Он-то твоего схолярия и везет, чтобы в дороге кто не обидел. Не все ведь такие книжники, как ты, медведь бренский.

– Был медведь да весь вышел...

Корнелий с усилием поднялся со стула, расстегнул ворот шерстяной сутаны, покрутил толстой шеей.

– А мне ведь тоже с тобой есть о чем поговорить, брат мой. Я уж хотел за тобой посылать, да ты сам пришел...

– Ну, говори, – кивнул Игнаций. – Здесь или к тебе пой-

дем?

– Пойдем, да не ко мне... Со мной пойдем.

Тяжело дыша, схолярий пошел к двери, и Игнаций, следовавший за ним, подумал, что брату Корнелию и вправду не стоит уходить из схоластики в переписчики и библиотекари. Стоило мальчишкам выскочить из комнаты, и Корнелий размяк, осел, как тающий на солнце снежный ком. Похоже, его до сих пор держит лишь ежедневная необходимость идти к «ягнятам». Жаль. Свет Истинный, как жаль старого друга! Но на все воля Твоя...

– Пришел в обитель вчера человек, – рассказывал по дороге Корнелий, грузно плывя монастырскими коридорами. – Попросился на ночлег, как странник, а ночью у него начался жар... Брат-лекарь велел перенести его в отдельную келью, но пришелец клялся Светом, что не болен, просто устал в дороге. Потом впал в забытие, потом начал бредить. И уже в бреду просил позвать к нему отца Теодоруса... Непременно самого отца Теодоруса. Это когда его понимали... Потому что потом он перешел на бренский говор, а его лекарь не знает. Понял только имена: Теодорус, Нита, Грель, Россен... К утру страннику стало совсем плохо. Жар спал, но началась холодная лихорадка. И лекарь решил позвать меня.

– Тебя-то зачем? – нахмурился Игнаций, все еще не понимая. – Ты знаешь бренский, но о чем думал лекарь? Рисковать заразой в монастыре, полном детей...

– А лекарь тоже клянется, что странник не болен. Телом

то есть. Устал, измучен – это правда. И что-то жжет его изнутри, Игнаций. Страшно жжет. Отсюда и холодная лихорадка.

Сходя с высокого крыльца, магистр молча поддержал схолария за локоть. На ступеньках Корнелий явно пошатнулся, но тут же выпрямился...

– Так вот, Игнаций, – помолчав и отдышавшись, продолжил монах. – Когда я услышал, что он говорит, то послал за тобой. Но тебя в обители не было – и пришлось ждать.

– Он все еще в лихорадке?

– Уже нет. Но теперь просто молчит. Отвернулся к стене – и молчит. Не ест, не пьет... Как больной пес на цепи. Поговори с ним, а?

– Что ты услышал, Корнелий? – нахмурившись, спросил Игнаций.

Они уже пересекли монастырский сад и прошли по мощенной горным камнем дорожке к маленькому длинному домику – монастырскому лазарету. Схоларий остановился, перевел дух, одернул задравшийся подол сутаны. Не глядя на Игнация, наклонился и ласково погладил пышную осеннюю розу, алеющую на клумбе, как погладил бы по голове ребенка. Выпрямился, вдохнул полной грудью сырой вечерний воздух.

– Он говорил о смерти, Игнаций, – промолвил тихо. – Говорил, что убил свою дочь. То ли родную, то ли приемную. Говорил, что какой-то Грель убил паладина Россена. И что

отец Теодорус будет недоволен, но ему все равно. Что теперь ему все равно, потому что Нита умерла в Колыбели Чумы...

– Свет Истинный...

– Да хранит Он нас, – сурово отозвался схолярий, не двигаясь с места. – Я буду молиться, брат мой.

– Молись, Корнелий, – прошептал Игнаций, проходя мимо него к беленым стенам лазарета. – Молись...

Город Бреваллен, столица Арморики, дом мессира Теодоруса Жафреза,

секретаря его светлейшества архиепископа Арморикского

13-й день ундецимуса, год 1218-й от Пришествия Света Истинного

«В лето 1218-е от Пришествия Света Истинного господин мой архиепископ Домициан Арморикский повелел во имя Благодати отворить церковные житницы и раздать милостыню зерном нищим, вдовам и сиротам, числом более трехсот. И молился о тех, кого призвали небеса, послав чуму во искупление грехов наших, и те, кто получил милостыню, рыдали и молились с ним вместе, ибо каждый из них потерял ближних своих в горниле гнева Господня. И стало по молитве их – укротил Господь пламя гнева своего и отозвал чуму. И те, кто был болен, исцелились, а по мертвым великий плач стоит по всей земле нашей. Молитесь за наши души, люди добрые, и помните Господень гнев и милосердие его

светлейшества Домициана Арморикского».

Поставив последнюю точку, окончательную, как приговор Инквизиториума, отец Теодорус, личный секретарь и хронист архиепископа, устало откинулся на спинку мягкого кресла. Протянув руку, нащупал на столе медное яблоко на блюде, повернул. В другой комнате, приглушенный стеной, звякнул колокольчик – не прошло и пары минут, как в дверь заглянула краснощекая особа в белом кружевном чепце и нарядном полосатом платье.

– Что изволите, отец мой?

– Горячего вина, Дорис. И как там мальчик, поел?

– Хвала Свету, отец мой, – умиленно заулыбалась экономка, – покушал наш голубок. Все съел и сказал, что было вкусно. Такое милое дитя... Ах, помоги ему Господь...

– Да-да, Дорис, ради Благодати...

– Уже бегу, отец мой, уже бегу...

Экономка исчезла, чтобы вернуться через несколько минут с большой оловянной кружкой, исходящей душистым паром вина и пряностей. Щеки у нее покраснелись еще больше, и круглые мышинные глазки виновато потупились, когда Теодорус укоризненно покачал головой, не сказав, впрочем, ни слова. Когда дверь за тихонько ушмыгнувшей Дорис закрылась, хронист пригубил как раз остывшее до нужной температуры вино и вздохнул. Надо прощать людям мелкие слабости, если они не препятствуют большим достоинствам. Дорис прекрасно готовит, в доме уют, и что поде-

лать, если такая полезная женщина не упускает случая тайком приложиться к его запасам хорошего вина? Вдобавок она искренне убеждена, что мальчик, пару месяцев назад появившийся в доме, – незаконнорожденный сын отца Теодоруса, милый и ласковый, но слабоумный. И пусть думает именно так, если это помогает ей от души баловать ребенка, но при этом держать язык за зубами. Быстро же люди забыли, что такое деан-ха-нан, которые уже почти не появляются на свет. Магистру Игнацию Кортоле, к примеру, так и не удалось найти ни одного, а ведь глава Инквизиториума не перестает искать. Но люди не доверяют инквизиторам, какие бы сладкие речи они ни вели и сколько благодеяний ни оказывали.

Вино Теодорус цедил медленно, словно смывая привкус написанного в этот вечер в большой книге, лежащей на столе. Ложь и лесть... Кормушка для личного хрониста архиепископа. Свет мой, упаси от того, чтоб имя Теодоруса Жакфреза потомки связывали только с этой писаниной! Теодорус ласково погладил деревянную, обтянутую позолоченной тисненой кожей обложку. Перевернул все страницы, открыв внутреннюю сторону задней крышки, легонько поддел ногтем утолщение у края переплета. Послушно снявшаяся кожаная полоса обнажила углубление, из которого Теодорус извлек тонкую тетрадь драгоценной хлопковой бумаги. Разложил на столе, бесцеремонно сдвинув громоздкие хроники. Бережно и нежно разгладил случайно заломленный уголок

страницы. Очинил несколько перьев и выбрал самое тонкое и ровное. Обмакнул в чернила и склонился над очередной, уже наполовину заполненной страницей, записывая мелким, идеально четким округлым почерком:

«Чума пришла предсказанной и ожидаемой. Прорицатели на рыночных площадях бились в судорогах, вещая шествие смерти; церковные колокола, отгоняя заразу, звонили день и ночь, а состоятельный люд скупал амулеты. Столицу прикрыли от мора, отслужив великую службу в главном соборе и выставив пикеты, чтоб не пропустить в город беженцев из зачумленных мест. Служба вычерпала всю магию в городе и окрестностях, так что еще пару месяцев ни один чародей или ведьма не могли творить заклятия. Сила не берется из пустоты – но когда служители света думали об этом? Прекратились порчи, привороты и отравления, зато начали умирать больные, роженицы и младенцы, что было приписано козням колдунов.

Чума шла по земле неостановимо, как прилив, накатывающий на берег, но кончилась внезапно и загадочно. Есть ли в этом моя заслуга? Один Свет Истинный ведает. Но я нанес на карту случаи чудесного исцеления и раскрасил точки разными, смотря по времени, цветами. Сделав это, я увидел кольцо – четкие радужные лучи, исходящие из Колыбели Чумы. Три недели назад по повелению архиепископа туда отправилось трое ловчих из его личного отряда истребления: паладин и двое охотников. Никто из них не вернулся. Тот,

кто сообщил нам, что четырнадцатого дня месяца децимуса нужный нам человек со своим подручным будет в Колыбели, также ничего не знает об их судьбе.

Деан-ха-нан играет камешками, перьями и разноцветными листиками, собранными в саду. На мои вопросы он лишь смеется и иногда отвечает, но так, что смысл темен даже для меня. Архиепископ повелел найти Ворона, но он не знает, что я уже искал его – и упустил в Колыбели. Что там произошло? Как связать воедино исчезновение троих охотников и избавление от чумы? Одно мне ведомо точно: я играю в опасную игру, но ставка выше, чем может себе представить смертный разум. Домициан – глупец, но он, думая, что правит колесницей, сам оказался в упряжке моих замыслов. Свет Истинный, помоги и сохрани, ибо все, что я делаю, я делаю во имя Твое и именем Твоим».

Дописав последнюю строку, Теодорус отложил перо и выдохнул, словно свалил с плеч тяжелую ношу. Присыпал написанное чистейшим песком, дождался, пока высохнет, и снова убрал тетрадь в тайник, сделанный в переплете. Пути Света неисповедимы. И если Теодорусу Жафрезу суждена смерть в грядущих событиях, ложь архиепископа Домициана сохранит истину, как мертвый металл доспехов бережет горячую живую плоть.



Интерлюдия 1



Через три дня после Самайна я снова возвращаюсь в окрестности Вороньего Гнезда. Архиепископ все еще гостит в Стамассе, и на дорогах хватает церковников, но, хорошо подумав, я решаю рискнуть. Конечно, зря я разоткровенничался с рыжей чужеземкой. Если вдова Бринара покается инквизиторам, любой из них признает в колдуне из часовни Греля Ворона, а там и история замка Энидвейт всплывет из

архивов капитула.

Но вряд ли церковные овчарки Инквизиториума взяли след прямо сейчас. Пока настоятель отправит донесение в капитул, пока штатный отец-инквирер прибудет на место и начнет расследовать смерть Бринара... Через пару недель здесь под каждым кустом будет по инквизитору или паладину, но пока что меня никто не ищет всерьез. А если ищет и найдет – им же хуже.

В этот раз трактир я объезжаю стороной. Можно было бы заглянуть туда под мороком чужого лица и послушать, что говорят, однако меня гонит странное нетерпение. Я так долго избегал Энидвейта, словно чумного могильника, но стоило однажды ступить на его двор – и потянуло домой, будто не было всех этих лет. Прав был Рогатый: можно отказаться от имени, но не от крови. И потому я сколько угодно могу обещать себе, что просто заберу меч и сумки, брошенные возле часовни, дело совсем не в них.

Впрочем, нетерпение – это не повод забывать об осторожности, и, пробираясь по мокрому холодному лесу, далеко видному насквозь, я готовлюсь к чему угодно, от засады инквизиторов до встречи с дровосеками или егерями Бринара. Сейчас это его владения, а ведь когда-то здесь были земли Энидвейтов. Часовню, где я заключил то ли самую удачную, то ли самую глупую сделку в своей жизни, построил мой прадед по обету за рождение наследника...

Под копытом Уголька трещит сухая ветка, отвлекая от

лишних сейчас воспоминаний. Я останавливаю коня перед поляной и спешиваюсь, чтобы еще раз проверить все вокруг. Не могут инквизиторы появиться так быстро, но вдруг настоятель монастыря возомнил себя великим охотником на нечисть и оставил засаду?

Нет, все чисто. Часовня встречает меня знакомой прохладной сыростью и сумраком, несмотря на полдень. Чудом сохранившиеся переплеты окон затянуты плющом, его побеги нагло лезут по стенам и потолку, так что еще десяток лет – и крыша окончательно скроется под вечнозеленым ковром. Пол скрипит под сапогами, когда прохожу ближе к алтарю и разглядываю пыльные, старые доски. Никакого следа круга. Все-таки стерла? Может, и не собирается каяться?

Перед глазами мгновенной вспышкой колдовского огня возникает лицо чужеземки – бледное, с упрямо сжатыми губами и решительно вздернутым подбородком. Жаль, если Инквизиториум доберется до нее, а ведь так и будет. Если даже захочет промолчать о нашей сделке, инквиреры умеют спрашивать, а под Благодатью не совершь.

Но пока здесь больше никого не было, и я покидаю часовню с тем же странным холодком в спине, что и в прошлый раз, когда ехал сюда по ночному лесу. Магия молчит – значит, это не чары слежки, но что тогда? Я бы сказал, что кто-то смотрит в спину, если бы не совершенно пустой лес.

В придорожных кустах без труда находится и сумка с колбами, и, главное, мой меч. Вот и еще доказательство, что ни-

кто пока не взял след: дознаватели Инквизиториума такое не пропустили бы, они и лист в лесу способны найти, если, конечно, этот лист умудрился в чем-то провиниться перед Светом Истинным.

Ощущение чужого взгляда почти исчезает, когда я выезжаю на опушку леса. Дальше – луг, за которым высится над пригорком башня Вороньего Гнезда. Следы времени и разрушений издали не видны, серый камень кладки так же строг и суров, как мне помнится с детства. Только не хватает узкой цветной полосы прапора на флагштоке да вокруг замка пустота. Ни телеги на дороге, ни мальчишек с гусиным стадом, ни пестрых пятнышек пасущихся на лугу коров...

Меня так и подмывает пустить Уголька вскачь, разбавить глухую предзимнюю тишину хотя бы стуком копыт по дороге, но я снова сдерживаюсь. Если все-таки ждут, то здесь как раз еще одно удачное место: несколько сотен квадратных ярдов не проверишь так же легко, как маленькую часовню.

Уголек недовольно фыркает, когда я спешиваюсь и, накинув повод на ветку куста, отхожу на пару шагов. Другая лошадь сейчас и вовсе начала бы беситься, но эшмарские кони славятся выучкой, а Уголек у меня уже три года и привык терпеть всплески тьмы.

Закрыв глаза, я шагаю вперед, не двигаясь с места, – трюк, знакомый любому колдуну, – и открываю глаза уже на другой стороне Врат. Здесь все окрашено в бесцветно-серый, пропитано безмолвием и тягучей тоской. Но стоит присмотр-

реться внутренним взглядом – вокруг расцветают бледные переливы теплых и холодных красок. Вот след пробежавшей недавно дикой козы, красная вспышка пойманного лисой кролика, едва заметные огоньки забившихся в норы мышей...

Кролик мне не годится, от него лиса оставила только клочки меха да пару косточек, от мышей тоже толку нет. Я ищу огоньки особого рода, не мерцающие живой силой, а замершие, тускнеющие в полумраке колдовских сумерек. И нахожу как раз то, что нужно: старый ястреб-канюк издох всего пару дней назад, упав в непроходимые заросли терновника, и мелкие пожиратели падали еще не добрались до него все-рез.

Протянув руку, я нащупываю пальцами холодный скользкий огонек растворяющейся жизненной силы, ловлю его, грею в ладонях... А потом легонько толкаю вверх, не переставая удерживать на невидимых нитях, как ярмарочный жонглер – пляшущую куклу. Открываю глаза.

Канюк покорно взмывает ввысь, хлопая по воздуху облезлыми мертвыми крыльями, роняя перья и покачиваясь так, что никто в здравом уме не перепутает его с живой птицей. Зрелище то еще, но я смотрю не на саму птицу, а изнутри нее – острым и странным видением, не предназначенным для человеческих глаз. Краски теряют насыщенность, а предметы – объем, зато любая мелочь становится дивно отчетливой и резкой. Я вижу бегущую среди сухой травы мышь и сбро-

шенную змеей шкурку, различаю стебли дрока и сухие метелки овсеца...

Выше, еще выше и кругами... Над остатками разобранной за эти годы стены, над длинным каменным коробом замка... Кое-где уцелела черепичная крыша, и каждая бурая чешуйка ясно различима с высоты, как и черные обгоревшие балки в других местах. Почти развалившиеся или сгоревшие пристройки, невысокое каменное кольцо колодца, бойницы в башне... Канюк смотрит одновременно в мире живых и мире мертвых, я смотрю вместе с ним и убеждаюсь, что замок пуст. Подойди я ближе, мог бы увидеть это и сам, но так намного безопаснее. Воронье гнездо светится ровным серебристо-серым сиянием – и ни единого огня человеческой сущности.

Моргнув, я возвращаюсь к обычному зрению и разжимаю пальцы, отпуская нити управления. Мертвая птица падает куда-то по ту сторону башни, свое дело она сделала. Вернувшись в седло, я пускаю Уголька рысью – все желание проскакать до замка куда-то подевалось, сбитое унижительной проверкой, словно я вор, готовящийся влезть в чужой дом.

Во внутреннем дворе тихо и пусто. На булыжниках все еще видны темные пятна от копыт Дикой Охоты, Уголек фыркает и настороженно косится на них. Спешившись, я ослабляю его подпругу, цепляю к вороту колодца привезенное с собой кожаное ведро с веревкой, вытаскиваю воды и пою коня. Потом, сполоснув ведро, набираю опять и делаю

несколько глотков прямо из него. За столько лет колодец не засорился – вода вкусна, разве что едва заметно отдает пахлыми листьями. Я не так уж хочу пить, но снова приникаю ртом к холодной ряби. Пью медленно, смакуя каждый глоток, и холод мокрой кожи ведра под ладонями проникает внутрь, так что я мгновенно замерзаю.

Наконец, оторвавшись от воды, поднимаю голову. Намокшие волосы прилипают к щекам и лбу. Вода постепенно успокаивается, и я вижу в темном неровном круге свое отражение, странно помолодевшее, будто смотрит оттуда не нынешний Грель, а тот мальчишка, которого я так старательно забывал.

Нет, это не магия. Просто показалось. Да и отражение нечеткое, вода спрятала морщины, смягчила резкость лица и скрыла выражение глаз. Керен говорил, что глаза выдают меня больше всего...

Ладони невольно стискивают ведро сильнее. Покачнувшись, оно выплескивает часть воды на край колодца, и серые камни темнеют, будто залитые кровью. Глубоко вздохнув, я с трудом разжимаю сведенные судорогой пальцы и делаю шаг назад, старательно отведя взгляд от расплескавшегося отражения. Не время и не место бы вспоминать моего наставника. Не здесь, не сейчас...

Но памяти, всколыхнувшейся, как вода в ведре, плевать на мои желания. Камни под ногами, тень башни, накрывшая половину двора, даже ветер, поднявшийся как-то сразу и за-

ставивший хлопнуть полуоторванную ставню окна на верхнем этаже башни, – все вдруг становится точно таким, как тогда. И день такой же... Проклятье, я и забыл, что это тоже было время Самайна. Точнее, очень постарался забыть. Правда, тогда был канун, дня два-три до самого Самайна, а может, четыре... Инквизиторы приехали как раз на него. А меня уже не было.

Меня не было в замке, отец об этом позаботился. Спрятал от Инквизиториума, от любопытных взглядов и шепотков слуг, от пересудов соседей и тревоги в глазах матери. А главное, спрятал от того, что с каждым днем рвалось из меня самого: темной силы, обжигающе горячей, затмевающей рассудок. Спас, как он думал, и сына, и семью...

Я делаю еще шаг от колодца, ладонь сама находит рукоять ножа у пояса, стискивает его беспомощно и глупо. В горле – комок, даже воздух, свежий и приятно пахнущий грибной сыростью, трудно протолкнуть в легкие.

– Ему точно пятнадцать? – слышу я за спиной знакомый голос и рывком оборачиваюсь.

Никого... Что за шутки ты со мной шутишь, замок?

– Исполнится через пять дней, – отвечает отец. – Он родился в канун дня святого Ардакия.

– Выглядит старше.

В голосе Керена не слышится сомнения в словах отца, он просто говорит то, что видит. А я... я еще не знаю, что его зовут Керен. Я ничего пока не знаю о высоком светловоло-

сом незнакомце с прищуренными ярко-зелеными глазами и лицом без возраста. Я...

Покачнувшись, я остаюсь на месте – все равно некуда бежать, – только пальцы застывают в судороге на бесполезном сейчас ноже. И это единственное, что помогает помнить себя нынешнего. Тогда я не хватался за нож. Я стоял, выпрямившись, развернув плечи, как и положено сыну рыцаря и будущему владельцу замка, Энидвейту из рода Энидвейтов.

– Иди сюда, мальчик, – говорит незнакомец, глядя на меня непонятым взглядом: то ли весело, то ли просто с интересом, как на редкую диковинку. – Ты знаешь, кто я?

– Вы целитель, – роняю я с излишним, пожалуй, высокомерием, но простительным благородному человеку в разговоре с бродячим лекарем. – И мой... будущий наставник.

Он молчит, ожидая, пока я спохвачусь и все-таки сделаю шаг вперед, склонив голову со старательной вежливостью. А потом говорит все с тем же скучающим равнодушием, которого я еще не умею бояться, даже не знаю, что нужно бояться этих бесстрастных ноток и его скуки:

– Я твой будущий хозяин, мальчик. Тот, кому ты будешь принадлежать много лет, пока я не сочту, что ты закончил обучение. Если сочту, разумеется.

– Мастер Керен... – В голосе отца звучит не тревога, а разве что легкое раздражение.

Ну да, разве может быть хозяин у сына Энидвейта? Наставник, только наставник...

Я – сегодняшний я – пытаюсь вдохнуть полной грудью, пытаюсь сказать что-то, крикнуть, предостеречь – и нет в мире ничего более бесполезного, чем эта попытка, опоздавшая на столько лет. Кого предостерегать? Тех, чьи кости истлели в земле или превратились в пепел, развеянный ветром?

– Помолчите, господин Энидвейт, – мягко просит незнакомец, чье имя почему-то вылетает у меня из памяти сразу же. – Вы заключили договор, и я выполнил свою часть. Но юноша должен понимать, на что соглашается. Итак, мальчик, ты знаешь, о чем речь?

– Да, – с вызовом говорю я, делая еще шаг вперед. – Вы помогли моей матери, а я стану вашим учеником. Я обещаю вам почтение и повиновение, мастер, как и положено.

Я – тот я, которому пятнадцать, а не двадцать семь, – преклоняю колено. Я-сегодняшний издаю хриплый стон, чтобы удержаться, закусываю губу. И остаюсь стоять на подгибающихся ногах. Где-то далеко тревожно ржет Уголек. Но мне все равно. Явись сюда весь отряд паладинов Инквизиториума с магистром во главе, я не сдвинусь с места, пока это – чем бы оно ни было – не закончится.

– Почтение и повиновение... – эхом откликается целитель. – Что ж, так и будет, поверь. Но твой дар далек от целительства. Ты уверен, что хочешь научиться тому, чему я буду учить тебя?

– Я... – на мгновение я осекаюсь. Действительно, меня никогда не тянуло к лекарскому делу. Сушить травы и ле-

пить пилюли, вскрывать гнойники и рвать больные зубы – что это за занятие для рыцаря? Но отец был неумолим, он объяснял, доказывал, а потом просто велел, и я не мог послушаться, но теперь гордо вскидываю голову: – Я буду учиться всему, мастер. Я должен обуздать свое проклятие.

А еще я хочу стать рыцарем Церкви. Не паладином, это призвание для тех, кто избран Светом Истинным, и мало кто стремится к тяготам отречения от мирских благ, но рыцарем... Белый плащ с огненно-красной стрелой в круге, сверкающие латы, почтение в глазах окружающих... И проклятый Бринар поумерил бы свою спесь, ведь за рыцарем, давшим обет Свету, неприступной стеной высится его Орден – защита от всех напастей. Но надо мной висит проклятие. Грязная, мерзкая тайна, которая погубит и меня, и семью, если этот человек не поможет.

– Понятно, – вздыхает он, глядя с выражением, которое потом я научусь определять как бесконечное терпение к человеческой глупости вообще и моей лично. – Что ж, мальчик, иди и попрощайся с семьей. Подожду за воротами.

Он отворачивается – и, странным образом, дышать становится легче. Я еще не знаю, что так теперь будут бесконечные годы. Что я возненавижу его взгляд, голос, запах и прикосновения, величайшим счастьем считая вот такие мгновения, когда он перестает обращать на меня внимание. Что в долгих кошмарах мне будет видеться уходящий через замковые ворота человек в простой, но до щегольства ладно подогнан-

ной дорожной одежде и то, как я, проводив его глазами, поворачиваюсь к отцу и вышедшей на крыльцо матери.

Они стоят, смотря на меня почти одинаково, только отец старательно скрывает тревогу и замешательство, а мама – слезы. Я вижу, как блестят ее глаза, как дрожат увядшие, но все еще красивые губы.

– Отец, матушка!

Вскочив с колена, я пробегаю несколько шагов до крыльца, не обращая внимания на любопытные лица прислуги, которой даже глас с небес не запретил бы сейчас выглядывать из окон и дверей.

– Я скоро вернусь, – говорю позорно прерывающимся голосом, боясь сейчас только одного – как бы самому не расплакаться. – Это всего несколько лет, правда? Может, я смогу навещать вас...

– Надеюсь, так и будет, сын мой.

Отец сходит с крыльца, протягивая руки для благословения, но вдруг крепко обнимает меня, не успевшего опуститься на колени.

– Служи своему наставнику верно, – говорит он задыхающимся, каким-то чужим голосом. – Пусть он простолюдин, но никто не скажет, что Энидвейты ставят гордость выше чести и благодарности. Учись всему... что нужно... Не забывай, кто ты...

Он смолкает, стиснув мои плечи пальцами так, что синяки останутся даже сквозь кожаную куртку – я увижу их потом.

А я смотрю поверх его плеча на мать, так и замершую на крыльце. Женские слезы – плохая примета для покидающего дом, и она часто-часто моргает, не позволяя им пролиться, улыбаясь старательно и виновато.

– Я не забуду, – легко обещаю то, что не выполнить просто невозможно. – Отец, матушка...

Хорошо, что сестренки остались с нянькой. Мелкие плаксы сейчас залились бы ручьями слез, а матушке только этого не хватало. И вообще, что это она? Я бы все равно уехал осенью, ведь все достигнувшие совершеннолетия дворяне обязаны представиться ко двору. А потом поступил бы на службу... Я уже взрослый, у меня на поясе меч, заказанный отцом прошлой весной и оплаченный половиной урожая этого года, несмотря на расходы с тяжбой. И это обучение – просто отсрочка перед целой жизнью, такой замечательной и интересной.

– Да благословит тебя Свет Истинный, сын, – выдыхает отец и отпускает меня резко, почти отталкивает.

Губы матушки беззвучно шевелятся. Проклятье, почему даже сейчас я не слышу ее голос? Действительно ли она молчала, как молчу сейчас я? Или, не сказав ни слова, кричала изнутри?

Я без всякой нужды поправляю меч, кланяюсь родителям, как и должен почтительный сын, покидая дом. Еще не хватает светлого отца с благословением, но наш замковый священник дня три назад уехал, а с монастырскими Энидвейты

никогда не ладили.

Так что я просто поворачиваюсь и ухожу. Мне смотрят вслед, пока я иду через двор, у самых ворот принимая из рук конюшенного мальчишки повод рыжего трехлетки, уже оседланного и нагруженного парой увесистых дорожных сумок. Мне смотрят вслед: отец и мать – с крыльца, сестры – из окна спальни (я это знаю, хоть и не вижу), слуги – кто откуда.

А я вывожу жеребца, думая, что проделавший долгий путь целитель тоже, наверное, приехал верхом, а иначе просто глупо получится, не может ведь ученик ехать, когда наставник пеш. Или он взял коня у отца в уплату своей работы? Я не знаю, что это за работа, какое-то женское недомогание матери, но отец, в последние месяцы измученный тайным страхом за нее, будто скинул тяжкую ношу, вздохнул свободнее, и за это одно я готов служить целителю, как только смогу.

– Хорошая лошадь, – говорит он, видя меня. – Держишься в седле? И мечом владеешь, полагаю?

– Я сын рыцаря, – отвечаю, опять не успев убрать из голоса надменность. – Как иначе?

– Еще как, – хмыкает он, не вынимая изо рта стебелек, который грыз.

По камню, на котором он сидит перед воротами, вдруг пробегают шальная ящерка, не заснувшая на зиму, и его ладонь молниеносным жестом накрывает юркое тельце, хотя глаза не отрываются от меня.

– Меч, конь, припасы... – перечисляет он негромко и

словно устало. – Тебе ничего из этого не понадобится, мальчик. То, что нужно, ты все равно не сможешь взять с собой. Никогда не сможешь, а особенно сегодня.

– Почему? – вспыхиваю я, пропустив загадку, которую не собираюсь решать. – Почему я не могу взять меч и коня? Наставник, если хотите, отец и вам даст лошадь... Но я сын рыцаря Энидвейта!

«...а не бродяга», – проглатываю в последний момент из учтивости.

Однако он хмыкает, словно услышав мои мысли, и роняет так же равнодушно:

– Это ненадолго, мальчик. Это ненадолго...

Истошное ржание Уголька раздается совсем рядом. Я вскидываюсь, ловя пересохшим ртом воздух, шало оглядываюсь по сторонам. Ничего и никого! Пустой двор полуразрушенного замка, тяжелое осеннее небо закрыто тучами, и вот-вот пойдет ливень.

Воронье Гнездо нависает сверху, став еще мрачнее, как и всегда перед ненастьем.

– И что это было? – спрашиваю я у пустоты и капель дождя, медленно пятнающих булыжники двора темными точками.

Ответа, как и полагается, нет, зато вопросов – через край. Слишком глубоко, слишком явно для простых воспоминаний, слишком... чересчур. Как омут, в который ухаешь с головой, собираясь только напиться да сполоснуться после до-

роги. Запах отца, когда он обнимал меня, звуки замковой кухни, скотного двора и кузницы, тяжесть того, первого, меча, который мне так и не удалось забрать...

– Рогатый? – спрашиваю я тихо, не надеясь на ответ. – Керен? Кто-то еще?

Ну не инквизиторы же решили окунуть проклятого некроманта в прошлое, перед тем как попытаться схватить? Да и замок – пуст. Вот только ощущение слежки, давившее на спину в лесу, вдруг снова возвращается и Уголек подозрительно водит взглядом по двору...

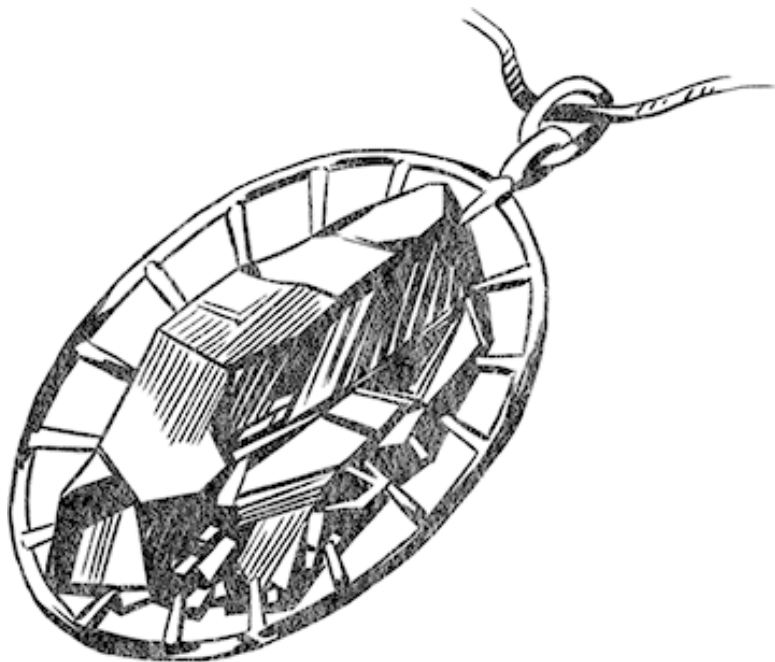
Ни-че-го. Только мне все меньше хочется оставаться в Вороньем Гнезде, ставшем вдруг на диво неприветливым. Замок словно уговаривает меня уехать, и я соглашаюсь с ним. Для меня здесь ничего нет, кроме памяти и вины, моей ли, чужой. Здесь нет ни одного ответа на мои вопросы, только боль и горькая тоска. И я не хочу вспоминать то, что было потом, за так удачно прервавшимся видением. Достаточно того, что я это знаю. Керен был прав, как и всегда: нельзя взять с собой то, что тебе нужно, чем бы оно ни было. Я всегда буду только терять. Но будь он проклят за эту правду, не позволяющую мне даже тени надежды.

– Надежда губит, мальчик, – ласково шепчет за спиной голос, от которого я стискиваю зубы, подтягивая подпругу Уголька. – Свободен только тот, кому не на что надеяться...



Глава 7

Щит Атейне. Час первый



*Где-то в графстве Мэвиан, убежище Керена Боярьшника
Исход самониоса, 17-й год Совы в правление короля Кону-
арна из Дома Дуба*

Кровь пахнет солью и железом – человеческий запах.
Плывет, пропитывает все вокруг, льнет к пересохшим гу-

бам. А страх – кислый ржаной хлеб. Тяжелый липкий мякиш, грубая корка. И никуда не деться от этой смеси: солено-алое, кисло-бурое... Скользкое, шершавое – дрожью по коже – гадко... Пелена перед глазами – стоит их приоткрыть – радугой, и в радужном мареве летают черные мошки, зудят беззвучно – не отогнать, не смахнуть. Бьется в левом виске звонкий горячий молоточек – пока еще молоточек, пока еще только звонкий... Обжигает. Каждый удар – волнами от виска: в глаза, в шею до самого плеча. Вдохнуть – больно. Говорить – больно. Слушать – большее всего. Гемикрания – болезнь людей. Или ублюдков вроде тебя, Керен Изгнанный. Как же омерзительно быть слабым, больным. Несовершенным. От жаровни тянет полынным дымком, голову не повернуть, не взглянуть на угли. Вдох-выдох, вдох-выдох, осторожно... Дым, полынь, кровь... Жар, соль, железо... Свист, хлопок. И снова, и снова... Звуки, запахи, свет – все оборачивается горячими волнами крови в больном виске. Это не сам приступ, всего лишь его предвестники, так что зелье должно помочь. Но как же некстати. Свист. Щелчок. Тугое хлопанье по плоти. Неправильное хлопанье, и стон от него неверный, словно фальшивая нота. Не глядя, протягиваю руку, нащупываю фарфоровую чашку там, где ей и положено быть – ровно на полпальца от жаровни, чтоб не грелась и не остывала. Глоток – лишь затем с трудом открываю глаза и размыкаю губы:

– Мягче, Рыжик, не так резко... И дай ему передохнуть.

Короткий кожаный бич, уже взлетевший в воздух, не успевает отдернуться, лишь удар слабеет и приходится наискосок, по ребрам. Рыжик поспешно отступает, виновато косясь на меня. Послушный мальчик... Аккуратный, исполнительный, неглупый – сплошные достоинства. Я всерьез считал, что смогу с ним поладить? Но попытаться стоило. Вот и пытаюсь до сих пор.

– Он в обмороке. Что толку причинять боль тому, кто ее не чувствует? – тихо объясняю я, делая очередной глоток. Полынный дымок, сладковато-терпкий привкус. Все верно, и горячее в меру, не зря я учил Рыжика правильно обращаться с жаровней. – А ты слишком резко работаешь бичом. Ни к чему рвать мясо до костей, так ты просто убьешь свою жертву.

– У паладинов не бывает слабого сердца, – отвечает Рыжик, приглядываясь к растянутому на металлической раме у стены телу с безжизненно поникшей головой.

– Хорошо, что ты помнишь, – ласково говорю я, позволяя мальчишке покраснеть от похвалы, и добавляю: – А еще у них защита от пыток. Тело не позволяет боли овладеть разумом. Это ты забыл.

Некоторые вещи Рыжик понимает отлично. Отходит еще на шаг, разочарованно глядя на меня.

– Значит, ему не больно?

– Не настолько, как тебе хотелось бы. Зато он может умереть от обезвоживания и потери крови. Поэтому ты сейчас

напоишь его и зальешь раны отваром кровохлебки. В качестве трупа он меня пока не интересует.

Рыжик закусывает губу, вздыхает и идет в угол мастерской, к шкафчику с зельями. Поднося чашку к губам в третий раз, я морщусь: запах крови почти перебил тонкий терпкий аромат зелья. В ушах легонько позванивает, предупреждая. Еще немного – и скрутило бы всерьез. Экстракт спорыньи в крошечных дозах – единственное, что помогает от моей формы гемикрании, все остальное давно испробовано. Не забавно ли? Целитель, который не может вылечить самого себя... Когда слышимый только мне звон притихает, ставлю чашку на низкий столик и рискую немного повернуть голову.

– Нелюдь, – негромко говорит человек в рясе, распятый у противоположной стены. – Фэйрийская тварь.

– Только наполовину. И не замечал, чтобы моя человеческая суть была преисполнена Благости, – утомленно отзываюсь я, приглядываясь к пленнику.

Вытертая ряса, уродливо подстриженные волосы, набрякшие мешки под глазами. Лет сорок, пожалуй. Коренастое тело, висящее на ремнях, от нелепой позы кажется еще более коротким и неуклюжим. Кислым пахнет именно от него: страх мешается с потом и болью. Закрыть глаза – и кажется, что со мной разговаривает огромный ломоть ржаного хлеба. Но держится священник неплохо: дыхание ровное, жилка на шее бьется чуть быстрее положенного и кожа почти не покраснела. Постник, сразу видно. А вот сердце у него должно

быть слабое, при таком-то цвете губ. И ногти на коротких пальцах с застарелыми чернильными пятнами отливают синевой. Поэтому я осторожен. Поэтому ремни мягкие и плотные, а ступни священника на полу. И Рыжику я его пальцем тронуть не дал, как тому ни хотелось. И поэтому у священника есть силы говорить, лишь слегка задыхаясь:

– Почему он? Почему ты не пытаешь меня?

– А зачем?

– Но...

Распятый запинается. Смотрит на Рыжика, деловито откупоривающего флакон с экстрактом... И снова на меня, не скрывая ужаса.

– Да, ты правильно понял. Это ему так захотелось. Я не получаю удовольствия от пыток. По крайней мере, когда работаю.

– Нелюдь, – беспомощно повторяет священник.

Надо бы, кстати, выяснить, как их зовут. Или рано? В любом случае пора начинать. Рыжик щедро плещет темной вонючей жидкостью на грудь и живот своей жертвы, проверяет пульс. Разжав зубы, вливает немного воды из специального стакана с носиком. До чего старательный мальчик, даже забавно. Ненавидит паладина всей душой, но я приказал – и он его лечит. И даже отпустит, если я велю. Послушный... И нелюбопытный.

– Рыжик, дай второму тоже попить. И двадцать капель экстракта ландыша.

Распятый плотно стискивает губы, вызываясь глядя на меня и хмурого Рыжика, отмеряющего капли в стакан.

– Не сопротивляйся, – советую я. – До ритуала еще пара часов, не торопись умирать.

Вот, кстати. Я тянусь к столику и переставляю высокие песочные часы, стараясь не зацепить чашку с отваром. Паладин по-прежнему висит, опустив голову, но дышит уже иначе, чем пару минут назад. Чего у них не отнять, так это хитрости. И учат хорошо. Точнее, не учат, а натаскивают. Спорю на свою библиотеку, кнут Рыжика не помешал ему рассмотреть каждый уголок лаборатории в поисках хоть какого-нибудь оружия.

– Наверное, я должен спросить, что за ритуал?

Священник пытается улыбнуться, в голубых глазах дрожат крупные капли, вот-вот расплечется. Надо же. Такие дерзят только от страха. Совсем отчаялся, что ли? Рано. Откинув голову на высокую, чуть изогнутую для удобства спинку, я смотрю, как он кривится, пытаюсь вздохнуть поглубже. Ничего, немного боли в запястьях и спине – в самый раз. Смотрю и молчу.

– А если я не хочу спрашивать? И не хочу разговаривать с тобой, колдун?

– Тебя никто и не заставляет, – негромко отзываюсь я, выдержав паузу. – Сейчас можешь помолчать, так даже лучше будет. А когда мне понадобится – ты заговоришь.

– Будешь меня пытаться?

– Не тебя. Его.

– Почему? Почему его?!

На крике его голос срывается, губы белеют. Я поднимаю чашку и делаю небольшой глоток, фарфор приятно греет губы. Главное – постепенность. Во всем.

– Не кричи, – прошу очень мягко. – Голова болит. Потому что вы нужны мне живыми, оба. А он выдержит гораздо больше тебя. Ты ведь боишься боли, верно? И у тебя слабое сердце. А еще тебе жаль своего спутника, потому что ты добрый и справедливый человек. Тебе будет очень стыдно, если он пострадает из-за твоего упрямства. Глупого, кстати.

– Ты...

Он облизывает губы, замолкает, не договорив.

– Не бойся, – тихо произношу я, протягивая Рыжику еще наполовину полную чашку. Тот осторожно вынимает тонкий фарфор у меня из пальцев, относит к жаровне и ставит у раскаленного бока, бережно помешивая содержимое. – Я нелюдь? Ты это хотел повторить? Можешь говорить что угодно. Главное – не кричи. Ты так не любишь фэйри, священник? Но вот взгляни на Рыжика. Он человек. Рыжик, иди сюда.

Повинуясь жесту, мальчишка опускается на пол возле моего кресла, заискивающе заглядывает в глаза. Я одобряюще улыбаюсь, запускаю пальцы в блестящие морковные пряди. Он стал отращивать волосы, стоило мне мельком упомянуть, что люблю перебирать их.

– Рыжик, что бы ты сделал с этими двумя?

– Убил, – отвечает он мгновенно.

– Просто убил?

Мальчишка жмурится от удовольствия, откровенно подставляя мне голову, даже отвечает не сразу:

– Нет, не просто... А можно?

– Я подумаю.

Книжник под моим взглядом тяжело сглатывает. А паладин уже совсем пришел в себя, но молчит и лишь прислушивается. Силы бережет? Это правильно. Да и не приучен он к разговорам.

– Рыжик не любит слуг вашего бога, – поясняю я, продолжая гладить мальчишку по голове. – Он вырос в сиротском приюте. Добрые люди его кормили, одевали, даже учили чему-то. Только вот отец-надзиратель оказался любителем хорошеньких детишек. И девочек, и мальчиков. Рыжик терпел несколько лет. А потом украл на кухне нож и воткнул его надзирателю в брюхо. Братия решила, что в мальчишку вселился Нечистый. Самое правдоподобное объяснение, верно? К счастью, кое-кто в этом приюте был мне обязан, и я успел раньше инквизиторов. Конечно, они бы во всем разобрались. А что потом? Другой приют? Кстати, тот добрый брат, что продавал мне Рыжика, верил, что мальчика пустят на зелья или принесут в жертву. Сам Рыжик тоже так сначала думал, правда?

Мальчишка поднимает голову и смотрит на меня пьяны-

ми от удовольствия глазами. Ему и в голову не приходит задуматься, для чего я рассказываю чужаку его историю и почему вообще разговариваю с ним. Да и о самом ритуале он не любопытствует, просто выполняет все, что я говорю. Полезное качество. Но не всегда правильное.

– Не все священники такие, – морщась, говорит книжник. Я поднимаю бровь.

– Хочешь сказать, есть исключения?

– Не передергивай! Ты... – продолжает он, спохватившись, заметно тише, – понял, о чем я говорю. В каждом стаде есть паршивая овца.

– Наверное. Только Рыжику от этого не легче. Скажи, малыш, я когда-нибудь обижал тебя?

– Нет...

Под моими прикосновениями он млеет и чуть ли не выгибается. А сначала от каждого прикосновения шарахался. Как-то разбил чашку – так едва в обморок не рухнул. Добрые люди в приюте были, похоже...

– Разве ты не делаешь с ним того же, что и тот... надзиратель?

Рыжик напрягается резко и мгновенно. Только что ластился и таял – и уже под моими пальцами загривок оцетившегося волчонка.

– Ш-ш-ш, – успокаиваю его ласково. – Он прав, мальчик. Разве нет?

– Нет, – бурчит мальчишка, прижимаясь лицом к моему

колену. – Господин не такой. Он хороший. Он меня не заставлял. Я сам согласился...

Согласился, конечно. Когда оттаял, перестал вздрагивать и дергаться. Даже улыбаться научился. Сначала криво выходило, а сейчас – ничего. И в спальне стелется, как шелк, – лишь бы меня порадовать. Поразительных результатов можно добиться заботой от того, кто этой заботы никогда не видел. Надзиратель, кстати, был болваном. Приласкай он мальчишку, вместо того чтобы запугивать адскими муками, да сунь какое-нибудь лакомство – Рыжик для него по доброй воле наизнанку бы вывернулся. Ко мне он попал лет в четырнадцать, значит, сейчас ему около шестнадцати, а на вид и того меньше. Но для людей это вполне взрослый возраст. Теперь он умеет читать, писать, манеры – хоть к королю в пажи. Только жить с людьми Рыжик уже не сможет. Небезопасно это для людей.

– Как твое имя, мальчик? – неожиданно спрашивает священник.

Рыжик молчит. Потом вопросительно заглядывает мне в глаза – я чуть заметно киваю.

– Ронан, – нехотя отвечает он.

– Тогда почему твой хозяин зовет тебя кличкой?

– Как хочет, так и зовет, – цедит Рыжик. – Не твое дело.

– И ты его имени тоже не знаешь?

Рыжик молчит. Я улыбаюсь книжнику. Значит, кое-что знаешь о фэйри? Интересно, как много? Учту.

– Принеси мой отвар, малыш, – прошу мальчишку, бросая взгляд на часы.

Еще и половина песка не высыпалась. Хорошо. Успею. Рыжик осторожно ставит чашку на столик возле моей руки и тут же, пользуясь невысказанным разрешением, снова занимает место на полу рядом с креслом. Это постоянное желание ласки частенько становится навязчивым, но я терплю.

– Имя дает власть над его носителем, – говорю негромко, возвращая руку на рыжую голову. – Умный маг очень осторожно выбирает тех, кому назвать свое имя. И когда назвать. Лучше пользоваться прозвищем. Или придумать такое имя, которое кажется настоящим. Если тот, кто знает твое имя, станет врагом, ты пожалеешь о такой доверчивости.

– А если он умрет? – бросает книжник.

– Тоже ничего хорошего, – соглашаюсь я. – Унести чужое имя в мир мертвых – плохая примета. Ты хочешь знать мое имя, мальчик?

Рыжик отчаянно мотает головой.

– Не хочу! – выпаливает он, словно боясь, что я не пойму жеста. – Не надо, господин! Если вам это опасно – не хочу!

Обняв за плечи одной рукой, я прижимаю его к себе и целую в макушку.

– А что за ритуал будем проводить, хочешь знать?

Мгновение мальчишка колеблется. Но мне соврать не может. Ему неинтересно. Грель... Грель бы заранее выпросил все, что касается новой магии. И библиотеку бы перебрал.

Ночью, вместо сна. А еще он бы непременно вырвался, вздумай я вот так обнять его. Даже зная, что будет наказан. И держался бы настороже, как и всегда. Язвил, задира л нос, но совал его в каждый уголок. Он бы смотрел на часы еще чаще меня, но так, чтобы я этого не видел. И все время ждал бы подвоха...

– Как скажете, господин, – равнодушно соглашается Рыжик.

Чашка приятно согревает пальцы. Я глотаю подогретое зелье, смотрю на монаха, едва сдерживающегося, чтобы не застонать. Потом осторожно поворачиваю голову к паладину. Даже измученный и окровавленный, он красив, как всякий сильный хищник. Красив и опасен. Совершенное тело, правильное лицо. Добрые братья тщательно отбирают мальчиков для закрытых от мира монастырей, где готовят воинов Церкви. Рыжик им бы не подошел – слишком изящен и тонок в кости. Такие не выдерживают обучения. Сила паладина не в гибкости и выносливости, это сметающая все на пути мощь.

Мне достается ненавидящий взгляд светло-голубых глаз из-под прилипших ко лбу пепельных прядей, потемневших от пота и крови. До чего же роскошный экземпляр. Пожалуй, ему повезло, что я не придерживаюсь некоторых традиций своих родичей, иначе шкура паладина после тщательной выделки украсила бы одну из моих комнат. С другой стороны, тогда бы я не позволил Рыжику эту шкуру испортить. Улы-

баясь, я медленно окидываю его взглядом, прикидывая размеры, но святоша, разумеется, понимает эту улыбку по-своему. Плевков совсем чуть-чуть не долетает до кончиков моих сапог, растекаясь по полу кровавым сгустком, – Рыжик вскидывается, я едва успеваю поймать его за плечо.

– Сядь. Он хочет легкой смерти.

Я делаю последний глоток и ставлю на стол пустую чашку. В висках пульсирует, но уже тише, радужная пелена медленно рассеивается. И это у меня извращенное воображение? Что же, хватит развлечений. Паладин взбешен, а книжник напуган. Пора начинать.

– Некоторое время назад мне заказали талисман. Вы, люди, знаете его как Щит Атейне, богини справедливости.

– Невозможно, – отзывается книжник почти сразу. – Это сказка. Щита Атейне не существует.

– Если ты чего-то не видел, это еще не значит, что его нет, – парирую я.

– Щит Атейне укрывает от любой магии. Не бывает абсолютной защиты, – настаивает книжник. Глаза у него лихорадочно блестят, на лбу капельки пота, хотя в мастерской нежарко. – Святые реликвии берегут от злых чар, темные амулеты – ограждают от силы Света. Они не могут работать вместе.

– Что есть Свет и Тьма? – вкрадчиво спрашиваю я. – По-моему, ты путаешь их с добром и злом, священник. Вот я – добро или зло?

– Зло, – хрипло отзывается вместо книжника паладин. – Мерзость и скверна.

– Да-да-да... Конечно. Для вас. А для Рыжика? Или, если он для вас тоже скверна, для тех, кто заказал мне талисман? Кто я для них?

Книжник молчит, он слишком умен, чтобы вступать в безнадешный спор. Или подбирает аргументы.

– Тот, кто прикасается к скверне, сам оскверняется ею, – надменно бросает паладин, сверкая глазами.

– Непременно передам архиепископу Арморикскому твое мнение, – улыбаюсь я. – Вместе с амулетом.

– Ложь! Святотатец!

– Не кричи, – морщусь я. – Иначе рот заткну. Или велю еще раз выпороть. Ты же паладин, вас учат отличать ложь от правды. Я бы поклялся, но не знаю, какую клятву ты примешь. Взывать к твоему богу мне нет смысла, к его противнику – тем более. Хочешь, поклянусь Рогатым и Триединой?

– Ты полукровка, – хмуро отзывается паладин. – Святой взор, алчущий истины, действует только на людей. Я не смогу проверить твою клятву и не признаю клятвы темными богами.

– Я не настолько человек, чтобы позволить себе ложь, – усмехаюсь я. – И зачем? Ваши иерархи отлично знают, что Щит – артефакт фэйри. Люди его делать не умеют именно потому, что способны на ложь, а Атейне не терпит малейшей неправды. Зато люди могут его использовать. Не знаю,

чего боится архиепископ, но цена впечатлила даже меня, а я в этом отношении чрезвычайно избалован. Хотя, если честно, я бы взялся за эту работу даже бесплатно. Щит Атейне – совершенство магии. Безупречная красота и симметрия замысла. Создать его – честь для любого мага. Я искренне благодарен Домициану за такой восхитительный заказ. Вдобавок он любезно взял на себя заботу об ингредиентах...

– Ложь, – тихо говорит книжник, но в наступившей тишине его слова падают четко и тяжело. – Он не мог.

В висках стучит болезненный молоточек. Рука сама тянется к чашке. Ах да, зелье кончилось. И пить новую порцию не стоит, лучше потерпеть. Сейчас нужна ясная голова, не замутненная дурманом спорыньи.

– Ты так в этом уверен? – задумчиво спрашиваю я, смотря ему прямо в глаза. – Знаешь, из чего делается талисман?

А вот это плохо, если так. Неужели мне настолько не повезло, что из всей оравы монастырских книжечеев попался тот, кто слышал про Щит Атейне?

– Я знаю, что нужны люди, – твердо отвечает книжник, облизывая губы. – Люди в жертву. Его светлейшество не мог согласиться на такое!

Я равнодушно пожимаю плечами, невзирая на новый приступ боли:

– Вы двое ехали из одного монастыря в другой с каким-то заданием. Архиепископу понадобился талисман полной защиты. Вас опоили ваши же спутники, связали и отдали мне.

Ты полагаешь, что это случайность?

– Он не мог, – безнадежно повторяет книжник.

Паладин вдруг рычит и выгибается, пытаясь сорваться с рамы. Тяжелое тело бьется о металл снова и снова, с запястий, привязанных широкими ремнями, течет кровь.

– Не верю! Скверна! Скверна! Нечисть и мерзость пред ликом Света! Тварь, проклятая Небесами!

Я прикрываю ладонями уши, пережидая вопли. Помогает слабо. Головная боль сразу возвращается, вгрызаясь в виски, разливаясь радужной пеленой перед глазами.

– Господин, позвольте его заткнуть, – тихо просит Рыжик. – Может, еще лекарства?

Вместо ответа я одной рукой притягиваю к себе гибкое теплое тело, судорожно вдыхаю запах чистых волос и кожи. От Рыжика совсем не пахнет кровью, только здоровым молодым телом и слегка – кровохлебкой. Наверное, капнул на рубашку. Чуть не заporол паладина и даже не испачкался. Чистюля. Это мне в нем всегда нравилось. Ненавижу грязь. Жаль, что он столь нелюбопытен и послушен, мог бы стать идеальным учеником. И жаль, что он так любит чужую боль. Не терпит ее, как переносил Грель, а откровенно и безрассудно наслаждается... Может, все-таки попытаться еще раз?

– Не надо, мальчик. Лучше принеси льда.

Сорвавшись с места, Рыжик исчезает за дверью, время до его возвращения тянется бесконечно, но я помню, что это всего лишь эффект спорыньи. Вот и стены дрожат радужным

маревом, по ним носятся обезумевшие тени, а в углях жаровни пляшет саламандра. Паладин еще несколько раз бьется о раму, потом затихает. Неужели дошло, что бессмысленно? Или просто силы кончились? Через несколько минут возвращается Рыжик. Перед тем как прижать языком к нёбу кусочек льда, указываю взглядом на кнут и предупреждаю:

– Не убей. Потеряет сознание – проверь пульс.

– Не надо, – просит книжник, едва не всхлипывая.

Откинувшись в кресле, я бросаю в рот ледышку. Рыжик, сияя, поднимает кнут – резкий свист заставляет поморщиться, но я терплю, не отводя взгляда от лица мальчика. Удар! Паладин молча мотает головой. Удар! И еще! Тело на раме выгибается, невольно пытаюсь уклониться. Все-таки изрядная часть боли в рассудок проникает, а кнутом по иссеченной плоти – это почувствует кто угодно. Удар! Рыжик облизывает губы, азартно блестя глазами, щеки розовеют. Брызги крови летят во все стороны, и если до этого он себя как-то сдерживал, то теперь срывается. Удар! Паладин глухо рычит, как загнанный зверь. Ничего, выдержит. Еще немного – выдержит. Дело совершенно не в нем. Удар! Рыжик вытягивается вслед за кнутом, дрожа и разве что не повизгивая...

– Не надо! – доносится от стены.

– Помолчи, – мягко прошу я. – Иначе добавлю. Ему.

Книжник отчетливо всхлипывает. Рыжик снова облизывает губы, снимая языком попавшую на них кровь, ноздри раздуваются. Дышит тяжело и быстро, словно отдаваясь.

Впрочем, таким он не был даже в спальне. Как же мне ни разу в голову не пришло взять его в постель после занятий с подопытным материалом?.. Паладин уже не дергается, только по телу после каждого удара пробегает дрожь да кровь из рассеченной до кости спины течет на пол.

– Хватит, – тихо говорю я.

Он не слышит. Кнут взлетает еще раз. И еще...

– Хватит. Рыжик!

Только тогда он замирает, чуть покачиваясь и глядя перед собой невидящими глазами.

– Иди сюда.

Я говорю ласково, пробиваясь через дурман крови и чужой боли, но настойчиво. И Рыжик разжимает пальцы – рукоять кнута выскальзывает на забрызганный кровью пол. Мальчик шагает ко мне на негнущихся ногах и почти падает рядом, уткнувшись лицом мне в колени. Тихо всхлипывает книжник. Лед, прижатый к небу, на время усыпляет боль, так что я снова обнимаю хрупкое плечо, прижимая мальчишку к себе.

– Господин...

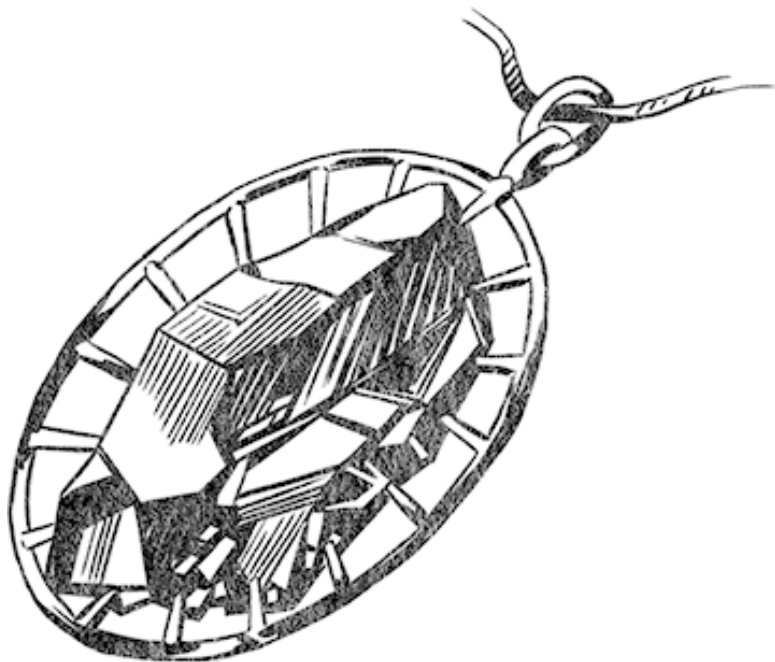
– Не надо, малыш. Все хорошо. Все правильно. Посиди...

Через несколько минут его дыхание выравнивается, а я смотрю на часы, где падают последние песчинки. Дождавшись, переворачиваю сосудик. Вот и час прошел. Надо торопиться.



Глава 8

Щит Атейне. Час второй



Протянув руку, глажу мальчишку по щеке.

– Отдохнул? Неси из шкафчика хрустальный флакон.

Расходовать эликсир второй жизни на полутруп – безумное расточительство. Но этот вечер и без того обещает множество расходов куда более чувствительных, чем редкое зе-

лье. Притихший Рыжик выполняет распоряжения еще старательнее и быстрее, чем обычно, виновато косится на меня. Но не боится. Я его никогда не наказывал и не собираюсь – что толку? Мальчик не виноват, что изначально уродился с пороком, а годы в приюте довели этот внутренний изъян до своеобразного совершенства. Он вливает эликсир в паладина и вытирает ему лицо мокрым полотенцем, заливает раны кровохлебкой. Потом тем же полотенцем, смочив его сильнее, тщательно оттирает пол, но густой запах крови так и стоит в воздухе, пропитывая все вокруг.

– Достаточно, – бросаю я. – Дай ему воды.

Паладин медленно, но верно приходит в себя. Удивительная вещь этот эликсир. Сказки про живую воду придумали те, кто видел его в деле. Жаль только, стоит как пара деревень и готовится почти год. К тому же не всякий алхимик за него возьмется. Грель вот так и не научился. Ему вообще целебные зелья плохо даются. Зато яды – замечательно. Хотя, казалось бы, какая разница, если знаешь рецепт? Но природу дара не обманешь. Некромант и целитель даже эликсир по одному рецепту приготовят разным. Иногда мне кажется, что все, мною сделанное, – безнадежно. Абсолютного знания нет и быть не может. Каждый окрашивает его в собственные цвета, как витраж – проходящий сквозь него свет...

По телу церковника прокатываются волны дрожи, он пытается что-то сказать, но только дышит, глубоко и часто. Рыжик поит его водой, старательно скрывая брезгливость от

прикосновений. Да, и это тоже. Касается он без отвращения только меня. Это уже не изменить. Разбитая и склеенная из осколков фарфоровая статуэтка, порванное и зашитое полотно гениального художника. Какой материал испортили святые братья!

– Зачем ты ему позволил? – доносится от стены. – Почему не остановил?

Я поворачиваю голову и смотрю на священника. Поймав мой взгляд, он замолкает. Паладин на раме кашляет, хрипит и отплеывается.

– Итак, вернемся к Щиту Атейне, – говорю я. – Вы можете мне не верить, но это факт. Щит заказал архиепископ. Вас поймали на его землях.

– Почему мы? Жертвой должен быть священник?

Песок в часах бесшумно и неумолимо сыпется из верхней колбы в нижнюю, где уже вырос крошечный холмик.

– Нет, не обязательно, – совершенно честно отвечаю я. – Один из ингредиентов – сердце человека, преданного Свету. Но люди понимают эту преданность по-разному. Жертва должна искренне верить, что служит добру – так, как его видит. Если бы я нашел темного мага, считающего, что действует на благо людей, он бы тоже подошел. Беда в том, что темные маги обманывают себя гораздо реже.

– Одно сердце?

Паладин очнулся. Вот и замечательно.

– Одно, – подтверждаю я. – Так что у кого-то из вас есть

возможность еще пожить.

Паладин насмешливо фыркает. Рыжик, закончивший с уборкой, тенью скользит к моему креслу, садится и замирает.

– Напрасно не веришь, церковник. Мне действительно нужно всего одно сердце, обращенное к Свету. Не могу сказать, что отпущу второго, но возможны разные варианты.

– И кого из нас ты убьешь?

А это уже книжник. Я все так же лениво пожимаю плечами.

– Сами решайте. Сейчас вас отвяжут и дадут по ножу. Впрочем, нет. Нож получишь ты. – Я киваю ученому. – А паладину оставим одну руку привязанной. Это немного уравнивает шансы.

– А если мы не будем драться? – с нехорошим блеском в глазах интересуется паладин. – Если попробуем вместо драки прикончить одну нечестивую мразь? Только не говори, что ты об этом не подумал.

Я улыбаюсь ему.

– Он наверняка что-то придумал, Дорин, – подает голос книжник.

Значит, Дорин? Запомню.

– Попробуй, – ласково говорю паладину. – Но учти, что ты сам это выбрал.

– Не сходится, – доносится от стены. – Я тебе не верю, колдун. Ты сказал, что тебе нужно сердце служителя Света. Как может служить Свету тот, кто поднимет руку на своего

товарища, брата в Господе?

– А как же мне отделить истинно светлого от того, кто только притворяется? – почти мурлычу я в ответ. – В этом-то и дело... Тот, кто позволит себя убить, лишь бы не убить самому, – сохранит в себе Свет. А тот, кто согрешит убийством, – обратится к Тьме. Разве не ясно?

– А если мы не станем? – настаивает книжник. – Не оскверним себя в угоду твоим планам?

– Выберу жребием, – сучающим тоном сообщаю я. – А второй сдохнет. Или Рыжику отдам. Но советую хорошенько подумать. Если вам так уж не хочется играть в мою игру – обойдемся и без нее. В конце концов, я могу просто убить обоих, с кем-то да повезет. Поэтому и заказывал двоих, кстати.

Они молчат. И я молчу тоже. Рыжик вообще еле дышит, медленно придвигаясь, пока снова не прилипает к моему колону щекой.

– Я тебе не верю, – наконец тихо говорит книжник. Паладин молчит, губы у него сжаты так, что белеют даже на фоне бледного лица.

– Дело ваше. Но я не настолько человек, чтобы врать, – снова повторяю я, улыбаясь. – Могу дать любую клятву, что мне нужно сердце только одного из вас. Видите ли, сложность изготовления Щита в том, что его создатель должен ни разу в жизни не солгать. А таких даже среди фэйри немного. Потому и Щитов за всю историю было создано не больше

дюжины.

– Это правда, – говорит книжник. – Я... читал об этом.

– Вот видишь, как полезно быть образованным, – улыбаюсь я. – Теперь ты знаешь, что я не лгу. Просто не могу солгать, чтобы не испортить работу. Кстати, придумал. Чтобы вы меньше раздумывали, я клянусь отправить того, кто выживет, к архиепископу Домициану. Отличная возможность узнать правду, не так ли?

– Ты... не можешь, – растерянно произносит книжник. – Мы тебя видели, были в твоём убежище... Ты не посмеешь... отпустить.

– И что с того? – интересуюсь я. – Вас привезли без сознания, дорогу все равно описать не сможете. А что я целитель и чародей, делающий амулеты, Домициан прекрасно знает и без вас. Когда уже вы поймете это? Мне нет никакого дела до вашей религии, я просто мастер, которому можно заказать редкую вещь. И лишние смерти мне совершенно не нужны.

– Где-то здесь... подвох, – хрипло произносит паладин.

Надо же, он пытается думать без приказа!

– Дорин, ты же не веришь ему? – В голосе книжника отчетливо слышится дрожь. – Он нас обманывает. Не знаю как – но обманывает. А если даже говорит правду, неужели ты готов спастись такой ценой?

– Почему же он? – вмешиваюсь я. – А вдруг повезет тебе?

– Я не буду драться. Не стану спасать свою жизнь ценой чужой!

Паладин молчит. У него даже пот выступил, не иначе как от непривычных умственных усилий.

– Если эта мразь права... – откашлявшись, наконец роняет он, – кто-то из нас должен вернуться. Кто-то должен спросить архиепископа, правда ли все это?

Я кошусь на часы. Половина песка пересыпалась. На столе все давно готово: начерчены символы, разложены оправа и кусок горного хрусталя для амулета.

– Хорошая мысль, – усмехаюсь я. – Ну так что? Чем поклясться, чтобы вы мне поверили?

– Так нельзя, Дорин! – В голосе второго звенит отчаяние. – Ты не веришь архиепископу, наместнику Господа?! Он не мог отдать нас на заклятие! Если мы погибнем...

– То эта мразь... все равно сделает свой поганый амулет, – перебивает его Дорин. – А мы так и не узнаем... правды. И архиепископ не узнает, что с нами случилось. Этот чертов паук будет и дальше сидеть в своей уютной норке и ловить людей. От кого – сердце, от кого – кровь, от кого еще что! Я не хочу умирать как баран, чтобы кто-то получил защиту от всего на свете.

– И бессмертие, – мурлычу я. – Достойная цена, чтобы немного изменить принципам. Думаю, Домициан, как умный человек, это понимает.

– И ты ему веришь?! Дорин, ты веришь, что он кого-то отпустит?

Паладин хмурится. Тяжело дышит. Смотрит на меня, пе-

реводит взгляд на своего спутника и снова на меня.

– У тебя есть портал?

– Конечно, – подтверждаю я. – Не думаешь же ты, что я трачу свое драгоценное время, добираясь до покупателей? Но портал на одного.

– Отдай его своему щенку. И пусть подойдет ко мне. Им ты рисковать не станешь, верно? Когда сделаю дело – заберу у него портал.

– Дорин!

Паладин сплевывает кровавую слюну на пол. Скотина. Рыжик только вымыл! Но чего и ждать от монаха?

– Прости, Санс. Ты все равно попадешь на небеса как мученик. А мне всю жизнь отмаливать этот грех. Но я должен узнать правду. И остановить это.

Я вытаскиваю из кармана янтарную каплю на цепочке. Трогаю Рыжика за плечо. Мальчишка удивленно смотрит на меня.

– Ты ведь слышал? Иди развяжи его. И ничего не бойся.

– Я должен его отпустить?

В голосе Рыжика непонимание. Я киваю и улыбаюсь мальчишке, поправляя рыжую прядь, лезущую ему в глаза.

– Да, так надо. Он тебе ничего не сделает. Паладин!

Ловлю его взгляд своим.

– Портал пока побудет у меня. А то ты можешь решить, что проще увильнуть от сделки, сбежав сразу. А Рыжик стоит рядом с тобой. Сделаешь дело – и мы обменяемся.

Янтарная капля ровно и сильно светится в моих руках. Портал заряжен – это видно издалека. Паладин облизывает губы, глядя на него. Потом – на Рыжика, холодно, оценивающе. А неплохо на него подействовал эликсир – прямо оживил.

– И учти, – добавляю я. – Просто обменяться не выйдет. Рыжик мне нужен. Но этот заказ мне нужен тоже. Не рискуй, монах. Ты в моем доме, на моей земле. Попытаешься причинить вред мальчику – сделка расторгнута. Будете умирать так, что позавидуете мертвым.

– Хорошо. Согласен, – хрипло отзывается он.

– Иди, мальчик, – говорю я Рыжику. – Не бойся. Ты же мне веришь?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.